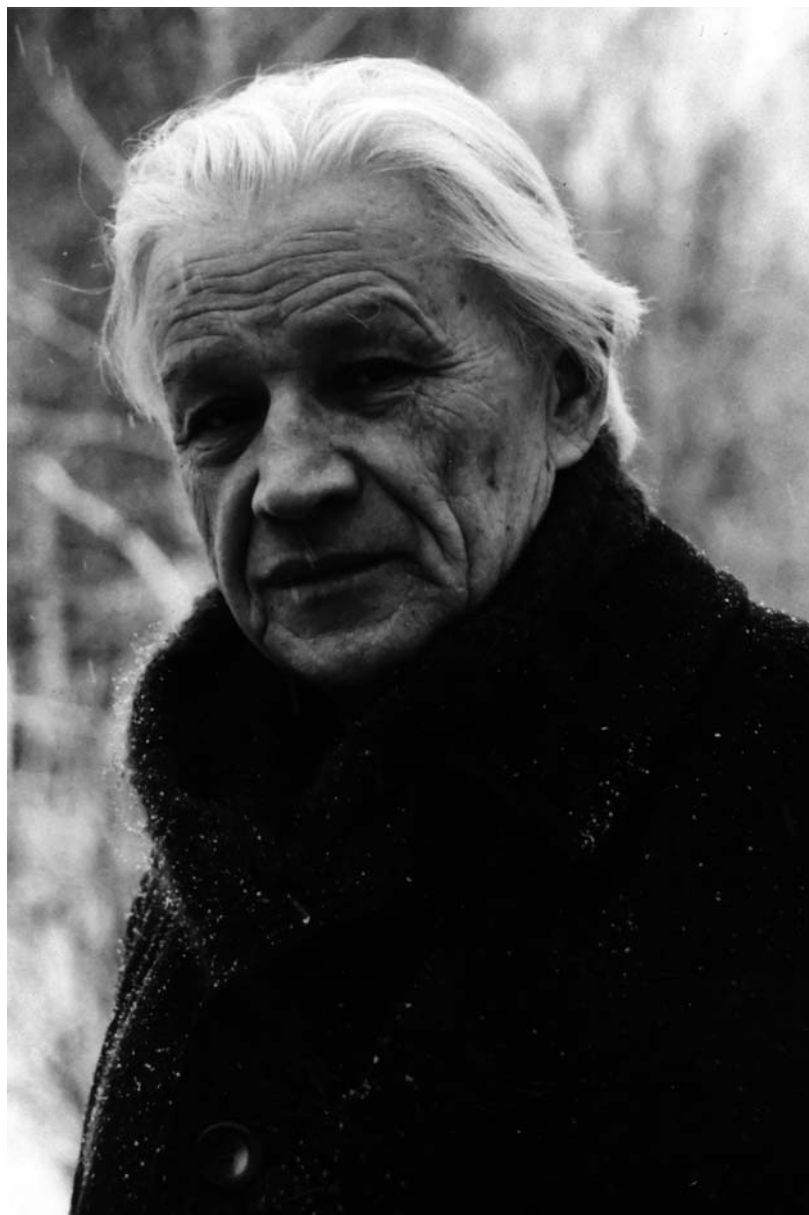


Victor Chorev – Amicus Poloniae



*К 80-летию
Виктора Александровича
Хорева*

Российская академия наук
Институт славяноведения

Международная конференция

Victor Chorev – Amicus Poloniae

К 80-летию

Виктора Александровича Хорева

Москва 2012

Редколлегия:

Ирина Адельгейм, Виктория Мочалова,

Наталья Филатова, Ольга Цыбенко

Сборник материалов, подготовленных к Международной научной конференции, посвящённой юбилею Виктора Александровича Хорева (Институт славяноведения РАН, 28 февраля 2012 г.). Благодарим за участие всех коллег из научных центров России, Польши, Белоруссии, Литвы, Грузии, Канады, а также Постоянного представителя ПАН при РАН д-ра Казимежа Вацьковского.

ISBN – 10 5-7576-0249-X

ISBN – 13 978-5-7576-0249-3

© Авторы

© Институт славяноведения РАН

От Редколлегии

22 февраля 2012 года исполнилось 80 лет одному из основателей российской полонистики Виктору Александровичу Хореву – доктору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, главному научному сотруднику Отдела по изучению современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН.

С Институтом Виктора Александровича связывают почти шесть десятилетий научной работы: из них многие годы он трудился на посту заместителя директора Института, а также заведующего Отделом истории славянских литератур. Виктор Александрович – автор более 350 трудов, научный руководитель нескольких поколений исследователей-полонистов, неутомимый популяризатор польской литературы. Он активно поддерживает связи с польскими научными институтами и центрами.

Виктор Александрович – поистине «человек Института», его гордость и непререкаемый авторитет для многих поколений сотрудников. Возглавляемые им научные проекты интегрируют представителей разных Отделов Института, в каждом из которых любят и ценят Виктора Александровича. С не меньшим уважением относятся к Виктору Александровичу и в Польше, изучению литературы и культуры которой он посвятил всю свою жизнь. Многие польские коллеги уже давно превратились в его надежных и близких друзей.

Он является кавалером ордена Дружбы (1997), польского Командорского креста со звездой Ордена Заслуги перед Польской республикой (1999), медалей «За заслуги перед польской культурой» (1996), Комиссии народного образования (1997), «Мицкевич и Пушкин» (2002), Объединения Европейской культуры (SEC, 2006), Президиумов РАН и ПАН «За вклад в

науку» (2008), «За заслуги в области культуры Gloria Artis» Министерства культуры и национального наследия Республики Польша (2010); он также отмечен дипломом Министра иностранных дел Польши «За выдающиеся заслуги в пропаганде польской культуры в мире» (2010) и наградой Посла Польши в РФ «Польский Пегас» (2010).

Коллеги, друзья и ученики Виктора Александровича, поздравляя его с юбилеем и желая здоровья, многих лет творческой активности, подготовили к его юбилею этот сборник как выражение глубокого уважения, любви, признательности.

Ирина Адельгейм

(Москва)

**Следы и следствия:
Вторая мировая война
в молодой польской прозе
1990–2000-х годов**

Память об исторических событиях не сохраняется неизменной. Писатели, родившиеся после войны, воспринимают ее через призму различных «культурных слоев». Основой повествования в молодой прозе 1990-х гг. становится:

1. *Предметный мир*. 1990-е гг. – время плодотворного художественного осмысления важнейшего военного и послевоенного исторического сюжета – драмы переселения народов. Вещь на «территориях-палимпсестах» – в прозе Ст. Хвина, П. Хюлле, О. Токарчук, М. Беньчика, А. Юревича и др. – оказывается посланием от одной судьбы, эпохи, культуры к другой.

2. *Миф*. В прозе М. Тулли и О. Токарчук война предстает неизбежным фрагментом (анти)утопии о попытке построения идеального пространства. Реалии войны заменяются метафорами, социальное и поэтическое причудливо переплетаются. Речь идет не столько о механизмах истории, сколько об осмыслении потребности и возможности человека рассказывать о прошлом, которое оказывается рядом историй, дополняющих, а порой и отменяющих друг друга.

3. *Язык*. Интересное преломление находит военная тема в «лингвистической прозе» 1990-х гг. Так, «Творки» М. Беньчика насыщены метаязыковыми комментариями, фрагментами поэтических текстов, пародиями, аллюзиями, образующими сложную сеть текстовых связей и культурных ассоциаций. «Чрезмерность» стилистических приемов обнажает художественную условность языка, который, по ощущению повествователя, бессилён передать накал эмоций и трагизм военного опыта.

Таким образом, война в творчестве молодой прозы 1990-х гг. предстает лично значимым переживанием (эмоцио-

нальным или рациональным), но не непосредственным опытом повествователя.

Еще шесть-семь лет назад казалось, что у следующего поколения военная тема практически отсутствует, что Вторая мировая война от него бесконечно далека, и даже будучи упомянута, «умещается» в несколько псевдоэпических фраз. Однако в последние годы стало очевидным, что наблюдается очередной всплеск интереса к этой теме, причем в совершенно ином ракурсе.

Молодые писатели 2000-х (С. Хутник, И. Батор, Д. Масловская и др.), а также некоторые авторы из поколения, о котором шла речь выше, обращаются *непосредственно* к ужасам военной действительности, моментам садизма, проявления человека худших своих качеств (проза С. Хутник, «Заоблачье» И. Батор, «Красотка доктора Йозефа» З. Рудзкой и др.) – и – вновь – к «следам» войны, но уже не молчаливым и обладающим своей эстетикой, как в 1990-е годы: теперь это откровенное описание психологических травм и осмысление (и даже – у Хутник – овеществление, а точнее олицетворение) идеи возмездия.

Военный опыт здесь изображается как центральный в биографии, незабываемый, нестираемый, а воспоминания о страданиях уцелевших становятся единственным свидетельством существования («Карманный атлас женщин» С. Хутник, «Заоблачье» И. Батор, «Мойры» М. Соболя) и источником террора следующих поколений (Б. Кефф, М. Тулли).

Снова поднимается проблема антисемитизма (проза Б. Кефф, С. Хутник: героиня «Карманного атласа» всю послевоенную жизнь опасается, что ее лишат патриотически-польского военного прошлого и раскроют его «еврейскую изнанку» – участие сначала в восстании варшавского гетто, и лишь затем в варшавском восстании).

Болевыми точками этой прозы оказываются:

1) *Проблема возмездия* («Заоблачье» И. Батор, «Малютка» С. Хутник); 2) момент агрессии, *отрицания*, желания сбросить «бремя трупов» (И. Батор, С. Хутник, Д. Масловская); 3) *женская перспектива*, всякого рода матрилинейные повествования (Д. Масловская, С. Хутник, Б. Кефф, М. Соболя, И. Рудзкая).

В романе «Карманный атлас женщин» Хутник перебирает множество масок-ролей польских женщин, в частности, касаясь военного прошлого. Оказывается, что в Польше оно разного «качества»: героическое мужское или «легальное», «признанное» женское («kanalarka», связная, санитарка), которые не могут быть оспорены – и негероическое (изнасилованных женщин, матерей, потерявших детей). Это свое ущербное женское-военное прошлое героиня скрывает так же, как еврейское-военное – участие в восстании в гетто.

Военная тема у младшего поколения вписана в изображение безъязыкого сознания современного обывателя, деконструкцию польского этоса. В этом смысле тексты, о которых идет речь, – естественное продолжение негативного повествования начала 2000-х годов.

Опыт поколения, приходящего к выводу, что в мире, сознании, истории ничего не изменилось, – реакция на скрытую жестокость современного мира, где военные действия происходят постоянно, однако – на периферии сознания и зрения.

Ольга Акимова

(Москва)

**«Мир проникся твоей славой...»:
Польша в хорватских сочинениях XVII в.**

После победы Речи Посполитой над войском турецкого султана Османа II в битве у Хотина в 1621 г. Польша стала восприниматься в хорватских землях как потенциальная сила, способная объединить славянский мир для противостояния турецкой угрозе и во имя последующего его процветания, что нашло отражение в некоторых литературно-исторических сочинениях авторов XVII в. Впервые такая коннотация зафиксирована в поэтической трагедии «Османшчица» Ивана Мрнавича (1580–1637), где подчеркивается значение победы *славянского* оружия. Еще определеннее был дубровницкий поэт и политический деятель Иван Гундулич (1589–1638), который не только воссоздавал картину сражения, открывающему путь к свободе («Хотинская война»), но и представлял (поэма «Осман») польский двор центром борьбы с турками, а польского короля – надеждой славянских народов, находившихся под турецкой властью. Для большей убедительности Гундулич домысливал исторические детали. Так, предводителем польского войска в поэме выступает не гетман Ходкевич, а сын польского короля Владислав, вообще не принимавший участия в сражении. Повествование в поэме во многом определяет мотив древности и единства славянского мира, так что первым народным певцом борьбы и побед славян над турками выступает «славянин» Орфей. Победа в Венской битве в 1683 г. войска под командованием польского короля Яна Собеского вдохновило Петара Канавелича (1637–1719) на «Похвалу» в честь него, в которой поэт представляет, как польское войско продвигается с боями до Царьграда и Мекки, освобождая не только всех поработанных славян, но и Святую землю.

Наталья Ананьева
(Москва)

Полонизмы в произведениях Дины Рубиной

Из современных русских писателей наибольшее количество польских языковых элементов представлено в прозе Д. Рубиной.

Минимальное число полонизмов и польских реалий отмечено в ее романе «Белая голубка Кордовы»: антропонимы *Рышард Рашкевич* (переодетый в «польскую девочку») еврейский мальчик), апеллатив *пани*, варшавский ресторан «*У поваров*». Эпитеты «прекрасная», «изумительной красоты», субстантив «красавица», относящиеся к молодой польской художнице, отражают традиционный для русской литературы стереотип «прекрасной полячки», о котором неоднократно писал уважаемый юбиляр В.А. Хорев.

Максимальное количество элементов польского языка мы встречаем на страницах романа «Синдром Петрушки». Полонизмы отмечаются и в некоторых рассказах писательницы (например, в рассказе «Гладь озера в пасмурной мгле» в сб. «Фарфоровые затеи»). Художественная цель употребления этих полонизмов – создание локального колорита (например, при описании польско-украинского «балака» Львова в «Синдроме Петрушки») и национальная маркированность персонажа (например, «глупой» Баси, кукольника Казимира Матвеевича или сторожа Луца в «Синдроме Петрушки», поляка из Лодзи в вышеупомянутом рассказе). Полонизмы характерны также для речи львовян непольского происхождения (Борис Горелик, Зив), особенно когда они передают речь своих земляков-поляков. Ср. Зив повторяет слова Яны, в которую он некогда был влюблен: *Куба, я мам дзисяй дзень народзенья, мам сэдэмнацэ лят.*

Сигналом чужеродности языкового элемента при первом его употреблении в тексте нередко являются кавычки или курсив. При этом пояснение и перевод даются в тех случаях, когда автор полагает, что без соответствующих объяснений текст утрачивает коммуникативность, становится непонятным для русскоязычного читателя. Пояснения вводятся непосредственно в текст (в препозиции или постпозиции по

отношению к полонизму) или (обычно в случае реплик персонажей) даются в сноске как перевод с польского. Пример пояснения в постпозиции в наррации: «В те годы все “брамы” – то есть ворота... бывали непременно заперты»¹.

Пример перевода в сноске – перевод польской песенки, которую пел дед главного героя романа кукольника Петра:

*О пулноци се зъявили яцьсь дваї цивиле,
Морды подрапане, влосы як бадыли [польск. badyle – Н.А.].
Ниц никому не мувили, тылько в мордэ били,
Тылько в мордэ били – таюсь-та-ёй!*¹

¹ В полночь явились какие-то двое в штатском,
Морды поцарапанные, волосы как солома.
Ничего никому не говорили, только в морду били,
Только в морду били, да крепко так! (польск.)².

При повторном (и тем более многократном) употреблении полонизма русский эквивалент отсутствует.

Полонизмы, как правило, переданы транслитерацией. Только в «Синдроме Петрушки» дважды отмечены примеры на латинице с некорректным отсутствием носового переднего ряда в *Predzej ci serce peknie* (польск. *Prędzej ci serce pęknie*) и отсутствием не только носового (которое можно было бы считать за передачу диалектного *bede*, *bedziesz*), но и некорректным отсутствием крески над *o* и *dzi* в *Lwow jeszcze bede* (польск. *Lwów jeszcze będzie*).

В докладе рассматриваются лексические, фразеологические, грамматические, фонетические и синтаксические языковые особенности польского языка, используемые Д. Рубинной в наррации, косвенной и прямой речи. Выделяются группы ономастической и апеллятивной лексики в существительных, а также иной частеречной принадлежности. Так, среди апеллятивных субстантивов отмечаются такие лексико-семантические группы, как номинации лиц (родственников: *матка* «мама», *сёстишчicka* «сестричка», *ойтец* «отец», *дзядэк* «дедушка», *прапрадзядэк* «прапрадедушка» и др.; по социальному положению: *пан*, *пани*, употребляемые также в функции обращения; по признаку: *млодец* «молодец» и др.); названия архитектурных сооружений и помещений (*брама* «воро-

та», *кавярня* «кафе», *цукерня* «кондитерская» и др.); номинации временных периодов (*ранэк* «утро», *вечур* «вечер», род.мн. *лят* «лет» и др.); названия природных объектов (*жемя* «земля»); номинации напитков (*кава* «кофе»); названия сосудов (*фляжка* «бутылка», *филижанка* «чашка»); названия частей тела (*рэнька* «рука») и др. Исследуются способы введения полонизма (проставление ударения, например, *далёко*; передача билабиального *l* через *v*: *быв* – польск. *był* и др.), а также примеры адаптации полонизмов для русскоязычного читателя (мягкий знак во 2 л. ед.ч. презенса глагола – *хцешь*, окончание *-у* в вин.п. ед.ч. сущ. жен.р. на *-а* и прилагательных ж.р. – *просту справу* и др.). Прослеживаются интертекстуальные явления как в передаче особенностей польского языка (например, носового переднего ряда как *энь*: *сэнь* – *się*), так и в «русификации» польских форм (ср. наличие тех же средств у Ф. Достоевского и В. Крестовского). Отмечаются примеры некорректной передачи полонизма и определенной коммуникативной неудачи при отсутствии точного русского эквивалента.

¹ Рубина Д. Синдром Петрушки. М., Эксмо, 2010. С. 34.

² Там же. С. 111.

Андрей Баранов
(Вильнюс)

Гарвардские лекции Чеслава Милоша: аспекты «поэтической» компаративистики

Художественно–эстетическое наследие Чеслава Милоша поражает своей многомерностью и может исследоваться в свете различных методологических перспектив. Уникальностью содержания отличается текст его небольшой книги под названием «Свидетельство поэзии», в основу которой были положены лекции, прочитанные поэтом для слушателей Гарвардского университета в 1981/82 учебном году.

Главный тезис данных публичных выступлений сформировало утверждение, что поэзия – это своего рода палимпсест, который может быть адекватно интерпретирован при условии игнорирования искусственно навязываемых социологическими школами концепций. Созданный Милошем текст как эстетическое целое отличается открытостью для ряда потенциально возможных комментариев. Среди функционально значимых его контекстов следует назвать компаративистский. Могут быть обозначены главные векторы данной интерпретации поэтического слова Милоша: прояснение некоторых существенных для сравнительного литературоведения понятий, оригинальные линии сопоставительного анализа, собственное творческое наследие поэта относительно зарубежной литературы и культуры.

В своих поэтических размышлениях автор «Земли Ульро» обращается к таким категориям, как время и пространство. XX век для него – выразительно полиморфический, это своего рода «чистилище», где «воображение» должно обходиться без помощи одной из важных потребностей человеческого духа, потребности опеки ¹.

Важен географический принцип для обозначения эстетических подходов. Существенную роль для наблюдений сравнительного плана играет исходный пункт видения («punkt wyjściowy»), в частности культурное пространство до относительно недавнего времени «белых пятен» на карте Европы – Ubi leones на восток от Германии. Милош наделяет неким сакральным смыслом и место своего рождения – Литву, что находит непосредственное воплощение в его эссеистике, также содержа-

щей любопытные для сравнительного литературоведения наблюдения. В суждениях поэта можно обнаружить уникальный ключ для описания так называемых «центризмов», литературного пограничья и одной из важнейших для компаративистики категорий – европейской литературы, в аспектах кардинальных для нее традиций греко–римской античности и христианства.

Реализуются конститутивные для культурологии оппозиции: Запад – Восток, Европа – Америка, Россия – Запад. Оригинальностью интерпретации отличаются суждения об оси Севера и Юга на карте европейской литературы, культуры и религии.

В тексте милошевских лекций дают о себе знать и некоторые частные аспекты компаративистики: типология в ее имманентных проявлениях, билингвизм, значение литературной адаптации в инонациональном контексте и др. Милош в своих рассуждениях о поэзии опирается и на значимую для сравнительного литературоведения стратегию «Я» и «Другой», так открываются возможности для активизации разнообразных компаративистских дискурсов в русле новейших теоретических наблюдений ².

Активизируются в тексте Милоша и требующие научного комментария литературные параллели, классические в своем бинарном проявлении, как, к примеру, следующая: Станислав Игнаций Виткевич – Антонен Арто, выявляются глубинные интерпретационные импульсы для компаративистского прочтения наследия Константина Кавафиса и др.

В парадигму сопоставления творчества Милоша с зарубежной литературой входят прежде всего следующие имена: Уильям Блейк, Федор Достоевский, Симона Вейль. Семантика гарвардских лекций находится в автотекстуальных связях с иными текстами писателя: «Родная Европа», «Земля Ульро», «Сад познания», «Начиная с моих улиц», «Поиски отчизны». На их интерпретационном пересечении и рождаются универсальные, окрашенные поэтическим словом компаративистские постулаты.

¹ *Miłosz Cz. Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku.* Warszawa, 1990. S. 55.

² *Dąbrowski M. Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki.* Warszawa, 2009.

Wracam na Ochotę

Moja matka sprowadziła się, a raczej została przez swych rodziców sprowadzona, na Ochotę w roku 1927, mając lat pięć. Ja przez moich rodziców zostałam sprowadzona na Ochotę w roku 1948, mając trzy lata, wraz z bratem, który dopiero co się urodził. W dodatku upieram się przy sformułowaniu, że na Ochotę «wróciłam». Zauważyłam, że wielu moich rówieśników, urodzonych poza Warszawą, bo po powstaniu nie było się tu gdzie urodzić, mówi tak samo.

Wszyscy z całą rodziną po prostu wróciliśmy. Może nie tak całkiem po prostu. Mury domu przy Raszyńskiej 58 wprawdzie stały, ale wypalone. To wielka kamienica z cegły. A jednak najwcześniejsze wspomnienia mojej matki i moje dotyczą drewna. Ona zobaczyła swój dom jeszcze w budowie. Widziała fundamenty, pierwsze, drugie piętro w budowie, jeszcze bez schodów. Na piętra prowadziły zbite z desek długie pomosty z nabitymi poprzecznie szczebelkami, umożliwiające chodzenie bez zsuwania się. Po tych pochylniach szli robotnicy, którzy na górę na nosilkach z desek wnosili na plecach cegły. Te dwa urządzenia całymi tysiącami powtarzały się także wśród drewnianych rusztowań z mojego dzieciństwa w odbudowywanej Warszawie.

Mama pamięta, że przed oknami, na trzecim piętrze widać było wielki kasztan. Z okna można było dotknąć jego kwiatów. I rósł tam podczas całej budowy, nie był niszczony, ani tym bardziej nikt nie chciał go wyciąć. W czasie deszczów mamie przypomina się, jak przed wojną koledzy mojego dziadka ubolewali, że wyniósł się ze Śródmieścia, z okolic placu Na Rozdrożu, na wieś, czyli na Ochotę. Mamie na stałe się to skojarzyło z ulewą, ponieważ za jej dzieciństwa, żeby przejść wielkie kałuże i nie utopić się koło domu w błocie, przechodzono po rzuconych na ziemię deskach. Na Służewskiej, gdzie się urodziła, «w prawdziwym mieście», tak nie było. Tutaj tuż za domem zaczynało się pole, Pole Mokotowskie.

Za mojego dzieciństwa za tzw. Lotnikami, przed wojną ten gmach (przykład architektury funkcjonalnej, budowany 1933–1935, projekt Rudolfa Świerczyńskiego, konstrukcja Stefan Bryła) przy Żwirki i Wigury należał do Marynarki Wojennej, po wojnie przeszedł

na własność Sił Powietrznych, także zaczynało się pole czerwonej kapusty i latało pełno bielinków. A w miejscu, gdzie później zlokalizowano Cmentarz Żołnierzy Radzieckich wśród żabiego koncertu przechadzały się bociany. Miały tam bociani raj, bo przecież wtedy istniało tam prawdziwe małe, bardzo mazowieckie, jezioro z wierzbami. Trudno pojąć dlaczego je postanowiono, razem z wierzbami, zlikwidować. Mogło przecież ozdabiać piękny park wokół cmentarza do dzisiaj. A z powodu tego sztucznego założenia parkowego było potem mnóstwo kłopotu, bo jezioro zdaje się «odrastało» i trzeba je było wielokrotnie osuszać. Nie pamiętałabym tego, gdyby nie strach przed dużo ode mnie wyższymi bocianami. One się mnie zupełnie nie bały, były do ludzi przyzwyczajone.

Oczywiście dziadkowie z mamą wprowadzili się do domu wykończonego. Inaczej my w roku 1948. Okna były, jednak drzwi wejściowe zastawiało się metalową siatką z łóżka, ze sprężynami, zawieszoną kocem, żeby nie wiało. Ale wiało. I dlatego mój brat Tadzik rezydował w łazience, gdzie było stosunkowo zacisznie. Chodziliśmy po belkach mających potem podtrzymywać podłogę, wśród morza wiórów. Meble przywiezione ze Śląska stały na belkach i wzbudzały moje dziecinne zdumienie. Wydawało mi się to nieco niepoważne. Na Śląsku te same meble miały solidniejsze podparcie. Wszystko pachniało drewnem. O zmierzchu dołączał się do tego ohydny zapach karbidu, bo mieszkanie oświetlało się lampkami karbidowymi, tymi samymi, których używano w tym czasie w kopalniach.

To wszystko miało się zmienić.

Юзеф Бахурж / **Józef Bachórz**
(Gdańsk)

W NIEZGODZIE ZE STEREOTYPAMI

Tezy rozważań o pewnych motywach wspomnień polskich zesłańców na Syberię w XIX wieku

1. Tematem rozważań w przygotowywanym szkicu staną się zesłańcze wspomnienia polskie, w których pojawiają się uwagi o Rosji odbiegające od takich ujęć, jakie w XIX wieku dominowały w polskich utworach literackich.

2. Koniunkturę stereotypów tworzą konflikty grupowe (plemienne, narodowe, wyznaniowe), trwające przez pokolenia, a w stosunkach polsko-rosyjskich konflikty takie nasilały się od XVII wieku, co po polskiej stronie wywoływało nienawistne schematy Rosjan, po rosyjskiej – odstręczające szablony polskość. Po obu stronach starano się nie widzieć u przeciwnika żadnych cech dodatnich.

3. Krótkotrwałe były sezony przygłuszania wzajemnych niechęci i budowania nastawień pozytywnych. W latach 1815–1825 próbowały gaszenia antagonizmu po obu stronach elity polityczne: Aleksander I ustanawiał autonomię Królestwa Polskiego i przychylił się do powołania w Warszawie Uniwersytetu, a po polskiej stronie poeci pisali hymny na jego cześć. Rychło jednak po polskiej stronie hymn *Boże coś Polskę* Alojzego Felińskiego retuszowano, by stał się pieśnią antyzaborczą, a jej genezę procarską skazano na zapomnienie.

4. Przez około 40 lat po II wojnie światowej pod hasłem przyjaźni polsko-radzieckiej eksponowano motywy rosyjsko-polskiej współpracy w kulturze z pożytkiem dla poznawania szczegółów tych zjawisk – przy jednoczesnym potępianiu caratu. Eksponowano więc współdziałanie przeciwników caratu, pamiętano o polskich wierszach spod znaku *Do przyjaciół Moskali* i o rosyjskim uznaniu dla Mickiewicza, starano się jednak nie pytać, ile w romantycznej poezji polskiej było języka nienawiści nie tylko do caratu, ale i do Rosji, i nie zatrzymywano się przy utworach w rodzaju *Клеветникам России*. Stereotypy antyrosyjskie po polskiej stronie i pamięć anty-

polonizmu w Rosji schodziły do sfery podziemia i szeptu, by później wypełznąć z nową energią.

5. Żmudny proces bezpruderyjnego rozpoznawania upiora stereotypów rozpoczął się po obu stronach w wyniku przełomu ustrojowego po roku 1990. Wydarzeniem ważnym stała się tu książka *Поляки и русские в глазах друг друга* (Moskwa, 2000) wydana pod auspicjami akademii nauk obu krajów. Zredagował ją zespół, którym kierował Wiktor A. Choriew, podobnie jak kierował pracami nad tomem *Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре* (Moskwa, 2002). Ich kontynuacją była książka autorska Choriewa *Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки* (Moskwa, 2005). Termin «imagologia» sugerował, że winno się badać nie tylko stereotypy, lecz i obrazy od nich odstające. Przełom, jaki w ostatnich latach tu się dokonał, polega na obnażaniu fałszu stereotypów i dowodzi sensu badania spraw drażliwych, respektowania różnic po obu stronach – i pamiętania, że żadna ze stron nie ma patentu na 100% słuszności.

6. Jednym z motywów, które warto podjąć po polskiej stronie dialogu, jest w niektórych dokumentach polskiego dramatu stosunek do Rosjan odbiegający od martyrologicznego patosu. Zesłania to w dziejach Polski obraz przeraźliwej męki i męczeńskiej śmierci tysięcy ludzi. Grozy tych kart historii nic nie uchyli, ale trzeba pamiętać, że wrażenia z Syberii zapisane w pamiętnikach i listach zesłańców bywają niekiedy zadziwiająco różnorakie, tymczasem – jak zauważa jeden ze znawców tej problematyki – autorzy tekstów literackich «dążyli do przekazania dosyć jednostronnego – to znaczy utrzymanego w ciemnej, smutnej tonacji – obrazu zesłańca» (M. Chrostek, „Jeśli zapomnę o nich...” *Powikłane losy polskich więźniów politycznych pod zaborem rosyjskim*, Kraków 2009).

7. Krytyczny stosunek do dramatu powstania styczniowego i przekorę wobec wyłącznie żałobnej barwy zsyłek widać w *Lalce* Prusa, toteż obraz przyjaźni zesłańca z Rosjaninem traktowano w polskich badaniach literackich zdawkowo: temat okazał się kłopotliwy na tle polskiego przekonania o konstruktywnym znaczeniu kłęsk. Pamiętniki sybirskie dostarczają wiedzy na rzecz racji Prusa.

8. Obrazy rosyjskości, której na imię nie tylko despotyzm i barbarzyństwo, można bez trudu znaleźć we *Wspomnieniach* (wyd. 1852–1853) Ewy z Wendorffów Felińskiej, która za kontakty z konspiracją Szymona Konarskiego została skazana na przesiedlenie na

Syberię, gdzie przebywała od roku 1839 do 1844. Nie potraçała o struny martyrologiczne nie tylko dlatego, że wydała pamiętnik pod rosyjską cenzurą, ale także dlatego, że ze swoimi rosyjskimi znajomymi z Berezowa zżyła się serdecznie i żegnała ich łzami wzruszenia.

9. ...Albo *Pamiętniki z pobytu na Syberii* (wyd. 1861) Rufina Piotrowskiego, który w 1846 roku zdecydował się na pieszą ucieczkę spod Omska drogami i bezdrożami m. in. skraju guberni wołogodzkiej (nie zajrzał do Wołogdy, w której później odbywał karę Apollo Nałęcz Korzeniowski, ojciec Conrada) i dotarł do Prus. Carat uważał za system złowrogi, ale przebywając wśród Rosjan czynił obserwacje, które polskiego szowinistę mogą irytować. «Wyznać potrzeba – pisał – że u ludu rosyjskiego [...] jest serce prawdziwie dobre, chrześcijańskie i miłosierne. Wieśniak rosyjski, chyba by wcale nic nie miał, aby prośącemu o jałmużnę nic nie udzielił; a jeżeli ma kawał chleba przy duszy, i tym się z bliźnim podzieli. Pod tym względem ludzie i narody tak nazwane barbarzyńskie daleko przewyższają ludzi i narody tak zwane ucywilizowane». Dodam, że niebanalne konstatacje skrywają się niejednej stronie innych pamiętników.

Ольга Белова
(Москва)

Королева Бона в славянском фольклоре

Мифологизация исторических персонажей – одно из интереснейших явлений, характеризующих взаимоотношения фольклора и исторической действительности, книжной и устной культуры. Фольклорные портреты исторических личностей, совмещающие реальность и вымысел, достойны внимания исследователя не только из-за своей колоритности и занимательности сюжетов, связанных с тем или иным персонажем, но также и потому, что ярко демонстрируют особенности формирования народной концепции истории, объединяющей трактовку исторических событий с мифологическими верованиями.

Среди женских персонажей, избранных славянской фольклорной традицией на роль «героинь», – княгиня Ольга, царица Елена, императрица Екатерина Великая. Для польско-украинско-белорусского пограничья популярной героиней народных легенд и преданий стала королева Бона (Бона Сфорца д'Арагона, 1494–1557, королева польская и великая княгиня литовская, супруга короля Сигизмунда I). Фольклорный образ королевы Боны сочетает в себе различные функции, которым соответствуют определенные сюжеты народных нарративов.

1. Преобразовательница и устроительница. Подобно другим правителям (ср. предания о Петре I, Екатерине Великой, короле Казимире и т. д.), королева Бона выступает в роли «культурной героини», преобразовывающей ландшафт и дающей наименования природным и культурным объектам (ср. легенды с Гродненщины: повозка королевы Боны застревает в ручье – «крынице» – и королева велит на этом месте основать селение Крынки; жители деревни встречают королеву Бону кто на коне, кто на корове, а один бедняк выехал на белой козе – это, видимо, умилило Бону, и селение стало называться Белокозы).

2. Демоническая личность. Несмотря на обширную преобразовательскую деятельность, благодаря которой владения Боны процветали, народная молва продолжала считать

ее чужестранкой, и во многом благодаря этому статусу в народных преданиях она приобретает черты **жестокой правительницы** (в Кременце рассказывают о мосте из человеческих волос, по которому Бона проезжала в своей золотой карете, о кровавых омовениях, которые она устраивала себе, чтобы сохранить красоту – несчастных девственниц для этого сбрасывали с башни замка на острые колья), **отравительницы** (польско-белорусские легенды о Черной Даме, призраке Несвижского замка – это дух Барбары Радзивилл, отравленной ее свекровью Боной Сфорца; ср. сюжет популярной восточнославянской баллады о том, как свекровь убивает (отравляет, превращает в дерево и т. п.) нелюбимую невестку, иногда заодно с собственным сыном, **ведьмы** или **колдуньи** (согласно легендам Брестщины, Бона закликает реку Мухавец за то, что там утонул ее сын, – река обмелела; закликает озеро в окрестностях Дрогичина, т.к. там тонет один из ее детей, озеро зарастает мхом; ср. широко распространенный мотив народных топонимических легенд о том, как ведьма (цыганка, царица) закликает (заколдовывает) реку (озеро, море) в наказание за гибель своего ребенка (собачки); в одном из вариантов сюжета, приуроченных к окрестностям Волковыска, «знатная пани Бэня» проклинает русских и польских солдат, разрушивших ее замок, а также всю местность вокруг замка – с тех пор там по ночам слышен плач и видны таинственные огни).

3. Романтическая любовница. Несмотря на довольно мрачный колорит личности королевы Боны в народных нарративах, есть один сюжет, «оправдывающий» ее в людских глазах (правда, и эта история не лишена некоторой «черной» ноты). Королева Бона отличалась любвеобильностью, и несколько десятков красавцев-охранников Кременецкого замка (а это в основном были поляки, шотландцы и немцы) были ее фаворитами. Доложили королю, муж-рогоносец выслал комиссию в Кременец, и чиновники доставили в Краков документы, подтверждающие измену жены. Король приказал казнить всех офицеров, перечисленных в списке, но Бона вымолила прощение для каждого 3-го, 9-го и 27-го офицера по списку. Вот с тех пор и поднимают бокал за женщин именно в такой последовательности!

Orzeszkowa wobec Rosji. Wokół listów do Wukoła Ławrowa

Stosunek Orzeszkowej do Rosji – to temat fascynujący. I choć podjęto wielu prób interpretacyjnych – nierozstrzygnięty. Manifestowany na zewnątrz mimo czujności cenzury, ale też głęboko uwewnętrzniony patriotyzm pisarki łączył się z fascynacją kulturą rosyjską, a także z wdzięcznością dla rosyjskiej opinii publicznej, tak życzliwie przyjmującej dzieła grodnianki. Stosunek do Rosji wykraczał jednak poza ten – poświadczony także innymi biografiami – splot uprzedzeń i sympatii. Był ściśle powiązany z politycznymi intuicjami pisarki, jej pragmatyzmem, zdroworozsądkowością, niechęcią wobec rewolucji, brakiem aprobaty dla rozwiązań siłowych i ruchów socjalistycznych (socjalistyczno-anarchistycznych, jak pisała w liście do Ławrowa z 14 października 1905 roku; dysponujemy tylko tłumaczeniami tych listów na język rosyjski wykonanymi przez adresata ¹⁾).

Oczywiście, temat rewolucji znów stawiał Rosję w dwuznacznej pozycji; Rosja była bowiem – według Orzeszkowej – źródłem rewolucyjnego fermentu, podszytego nihilizmem, a jednocześnie – i to element nowy, zaskakujący – była państwem na tyle silnym, by zablokować rewolucyjny zryw. Orzeszkowa zapewniała Ławrowa, że przechodząca przez ziemie polskie zaboru rosyjskiego rewolucyjna fala nie ma nic wspólnego z ruchem narodowym, z próbą oderwania Polski od Rosji, choćby dlatego, że jej przywódcy nie przywiązują wagi do uczuć patriotycznych i pojęcia ojczyzny, bowiem – jak pisała – w ich rozumieniu «rzeczownik Polska nie występuje».

Uczestników zamieszek roku 1905 charakteryzowała w sposób przypominający opinię Narcyzy Żmichowskiej z roku 1859 na temat powstańców polskich, wyrażoną w słynnym liście do emigranta, Seweryna Elżanowskiego. Obie widziały w uczestnikach walk zbrojnych osobników słabych, pobudliwych, niecierpliwych, bezmyślnych i słabo przygotowanych do życia, działających na oślep, bez rozważenia skutków własnych decyzji. Zdaniem Żmichowskiej motywem przewodnim powstańczego zawadiactwa było pragnienie ucieczki od trudów życia codziennego, wymagającego

prawdziwego heroizmu. Zdaniem Orzeszkowej, akces do rewolucji 1905 roku deklarowali ludzie obdarzeni żyłką awanturniczą, nieodpowiedzialni, ulegający utopijnym hasłom, sławiący uroki nieistniejących Atlantyd. Jej krytycyzm nie obejmował – rzecz jasna – powstania styczniowego.

Tymczasem należało – zdaniem Orzeszkowej – twardo trzymać się ziemi i skrupulatnie obrachowywać się z historią, geopolityką. Stosunek Polski do Rosji wprzęgła w ten układ element trzeci: Prusy (Niemcy). Co się stanie dalej? Czy osłabiona Rosja nie ulegnie niemieckiej agresji? Orzeszkowa zwraca uwagę na scenariusz – według niej – przerażający. Zabór rosyjski przechodzi pod wpływy niemieckie, a polskie kresy, stanowiące zachodnie gubernie Cesarstwa Rosyjskiego, pozostają pod panowaniem carskim. Oznacza to nową katastrofę, większą od tej, której doświadczało jej pokolenie. Żeby zapobiec całkowitej klęsce, trzeba trzymać się Rosji, z nadzieją, że po przejściu procesu liberalizacji – stanie się lepszym domem dla tworzących jej potęgę narodów. Tylko w ten sposób można uniknąć kompletnego zniszczenia, tj. śmierci z pruskich «tygrysyich łap».

Tak – mniej więcej – brzmi konkluzja wypreparowana z najważniejszego listu Orzeszkowej do jej tłumacza – Wukola Ławrowa. I trudno sobie wyobrazić, by podobne konstatacje mogły się znaleźć w korespondencji krajowej, kierowanej do któregośkolwiek z rodaków. Nawet do któregoś ze współpracowników stronnictwa „realnego”, deklarującego współpracę z Rosją. Bo także to stronnictwo, a może przede wszystkim ono, dbało o miły uszom frazes patriotyczny, unikało zaś posądzenia o pragmatyzm, polityczne wyrachowanie. W liście do Ławrowa Orzeszkowa znakomicie łączy racjonalny patriotyzm z polityczną kalkulacją. Czy naiwną? Czy można mieć żal do Orzeszkowej, że nie przewidziała losów pierwszej wojny światowej, legionów Piłsudskiego i listopada 1918? Czy można mieć pretensje, że trzymała się politycznego *status quo*, marząc jedynie o «wewnętrznych» zmianach? I że nie pragnęła rewolucji, choć widziała nędzę ludu?

Chyba nikt nie zdobyłby się na podobne potępienie. Być może nawet ta nie całkiem dobrowolna zgoda Orzeszkowej na panowanie Rosji rzuca jakieś blade światło na późniejszy stosunek Polaków do totalitaryzmu niemieckiego i rosyjskiego, faszystwu i komunizmu. Z dwojga złego częściej wskazywano Rosję jako przeciwnika, z którym można próbować się jakoś ułożyć. Choć to «jakoś» okazywało się często zawodne. Czy kryje się w tym geście – pode-

jmowanym wcześniej i później – pamięć o słowiańskiej wspólnocie; idei politycznie podejrzanej, ale – jak się możemy przekonać – niezupełnie przebrzmiałej, przywoływanej w chwilach przełomu i śmiertelnego zagrożenia? Pytanie to pozostawiam otwarte.

Oczywiście, mam świadomość tego, że samo otwarcie tej kwestii jest już prowokacją. Nie kto inny, tylko Czesław Miłosz ocenił jednoznacznie udział sowieckiej Rosji w zagładzie zaścianków znanych z prozy Orzeszkowej (wiersz *Rozbieranie Justyny*). I nie on jeden. Tym bardziej świadectwo pisarki, zafiksowane w rewelacyjnych listach do Ławrowa, stanowi dla mnie wyzwanie.

¹ Zob.: *Barański Z., Jakóbiec M.* Listy Orzeszkowej do Wukoła Ławrowa // *Slavia Orientalis*. Warszawa, 1957. Rocznik VI.

Людмила Будагова
(Москва)

**Между поляками и русскими.
Деятели чешского национального возрождения
о польском восстании 1830–1831 гг.**

*«Куда ты завел нас?» – лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно», – Сусанин сказал...*

(К. Рылеев)

Разъясню сначала смысл эпиграфа, двух строчек из думы «Иван Сусанин» Кондратия Рылеева, вдруг пришедших на память и вызвавших ассоциацию, (правда, в отличие от первоисточника вполне жизнеутверждающую!) с нашей научной работой и путеводной ролью Виктора Александровича в ней. От поэмы Рылеева о подвиге костромского крестьянина, который, взявшись проводить польских захватчиков к юному царю Михаилу, заводит их в болотную трясины, она переносит нас в современность. Персонажи в ней переосмыслены. Под ляхом (не обязательно «старым») может подразумеваться любой институтский литературовед (не обязательно полонист), но под Иваном Сусаниным, однако цивилизованным и благожелательным к публике, ведомой непроторенными путями – лишь Виктор Александрович Хорев. В переосмыслении не нуждается вопрос «Куда ты завел нас?» и, что самое важное, ответ. Совсем не в болото, а именно «туда, куда нужно» всегда заводили и заводят нас инициативы юбиляра и им проложенные пути.

Вот и меня на тему данных тезисов навела разработка проблематики «Русский человек и Россия в славянской литературе, фольклоре и документалистике», прямо связанная с имагологией, которая с большой творческой отдачей изучается в нашем Институте (и не только литературоведами!) по инициативе Виктора Александровича.

Польско-русские конфликты всегда волновали славянский мир, в частности деятелей чешского национального возрождения, с большим вниманием относившихся и к русским, и к полякам. Подневольные граждане Австрийской империи связывали с Россией надежды на освобождение, а в русском фольклоре и литературе видели источники вдохновения и опоры для становления и развития литературы своей,

национальной. Чехов вдохновлял и культурный опыт близкого соседа, родственного польского народа – не только его *krakowiaczki* и *polku*, подхваченные чешскими селами и городами, но и польский романтизм, на который во многом ориентировались чешские романтики. Идея славянской взаимности, весьма популярная на протяжении всего XIX в., тоже не способствовала равнодушному отношению чехов к периодически обострявшимся межславянским распрям, в трагическом ряду которых и антирусское восстание поляков 1830–1831 гг.

Отношения к противоборствующим сторонам в чешском обществе было неоднозначным. Много известных литераторов (К.Г. Маха, Й. Лангер, позже Й. Фрич) сочувствовало полякам, переживало разгром их восстания, осуждало Россию. Однако, раздавались и голоса осуждения строптивного народа, трезвые чешские призывы к согражданам не принимать стороны ни русских, ни поляков, поскольку одинаково «хороши» и те и другие, а брать на себя роль миротворцев. Находились люди, менявшие отношение к полякам с положительного на отрицательное, то ли искренне, то ли из конъюнктурных соображений, боязни впасть в немилость у власти за поддержку взбунтовавшегося народа. К таким людям относился, в частности, Ф.Л. Челаковский.

Амплитуду колебаний разных взглядов на польский вопрос в Чехии эпохи национального возрождения хорошо очерчивают два полюса: с одной стороны – отношение к полякам представителей чешского романтизма, принявших сторону поляков, с другой стороны – отношение к ним менее прославленных представителей чешского общества того времени, отмеченных не особыми творческими заслугами, а последовательным русофильством.

Отношение чехов к польскому восстанию 1830–1831 гг. интересно не только с точки зрения чешского восприятия русских и поляков в этом драматическом эпизоде русско-польской истории, не только потому, что стороннему взгляду открывались при этом какие-то скрытые черты воспринимаемых народов. Чешское отношение к ним говорило многое и о взглядах и характерах представителей воспринимающей стороны, приближая к нам личности известных деятелей или безвестных современников той далекой эпохи.

Od Prusa do Kabatca – Wiktor Choriew o literaturze polskiej XX stulecia

W 2003 roku, kierując polskimi przygotowaniem do głośnych manifestacji artystycznych – Sezonu Rosyjskiego w Polsce i Sezonu Polskiego w Rosji, zamówiłem do katalogu prezentowanej w obu stolicach wystawy «Warszawa – Moskwa. 1900–2000» artykuł o dwudziestowiecznej polskiej literaturze. Zależało mi wszakże bardzo na jej oglądzie oczyma partnera, przeto adresatem prośby uczyniłem badacza z Rosji – profesora Wiktora Choriewa, wraz z Jeleną Cybienio niekwestionowanego lidera rosyjskiego środowiska polonistycznego. Sześć lat później Choriew, wręczając mi swoją nową książkę «Literatura polska XX wieku»¹ zwierzył się, że u źródeł jej zamysłu leżało właśnie owo moje katalogowe zamówienie – swój (dodam: obszerny i nader treściwy) napisany dla katalogu szkic² postanowił rozszerzyć do rozmiarów monografii.

Przyjąłem jednak owo oświadczenie Choriewa jako uprzejmy, ale niezbyt przeze mnie zasłużony komplement – przecież stworzenie podobnego dzieła było oczywistym i na swój sposób nieuniknionym zwieńczeniem całokształtu dotychczasowych dokonań Profesora, a cały jego znakomity dorobek kładł pod podobną syntezę gruntowne podwaliny; mówiąc wprost, Choriew taką książkę prędzej czy później napisać musiał. Trzeba tu przypomnieć, że nasz autor, poza wieloma studiami szczegółowymi, już jako młody badacz dał w rosyjskiej «Historii literatury polskiej» z 1969 r. sumujące ujęcie polskiej literatury międzywojennej, zaś w latach ostatnich stał się twórcą poświęconych Polsce rozdziałów w dwóch ważkich rosyjskich opracowaniach o literaturach Europy środkowo-wschodniej po drugiej wojnie światowej: w tomie opisującym lata czterdzieste do sześćdziesiątych i w tomie obejmującym lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Kilka prób takich cząstkowych syntez podejmowali też ostatnio jego wychowankowie i najbliżsi współpracownicy z Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, z którym jest związany już od z górą półwiecza – Irina Adelgiejm i Olga Miedwiediewa.

Ponad trzystustronicowa książka Choriewa została opatrzona podtytułem «1890–1990», bowiem za istotniejsze aniżeli kalendarzowy początek i koniec stulecia autor słusznie uznał

moment wyłonienia się «Młodej Polski» i ostatnią transformację ustrojową. W ramach tak zakreślonego stulecia Choriew zastosował następującą periodyzację: 1890–1918, 1918–1939, 1939–1945, 1945–1956, 1956–1968 i 1968–1989. Wśród głównych celów, które postawił sobie autor, znalazł się, jak pisze w przedmowie, i ten praktyczny – pomoc rosyjskiemu czytelnikowi w wyłonieniu i wybrze zjawisk i dzieł w naszej literaturze najdonioślejszych i najbardziej reprezentatywnych; kanon taki zdaniem Choriewa powinien w tym wypadku wypełniać dwie funkcje – poznawczą (jako informator o życiu innego narodu) oraz estetyczną, a przy jego budowie najważniejsze kryterium winna stanowić wartość wkładu do literatury światowej. Za uzasadnione i produktywne uznał też nasz badacz rozpatrywanie zjawisk literackich w szerokim kontekście społeczno-politycznym.

Chronologiczna narracja o polskim piśmiennictwie wzbogacona została u Choriewa – a dopełnienie to uważam za dużą jej zaletę – rzeczowymi i interesującymi informacjami o polsko-rosyjskich kontaktach literackich i o wzajemnym obu literatur oddziaływaniu. Wątek ten wyraziście daje o sobie znać już na samym początku książki, bo przecież właśnie przełom XIX i XX stulecia był okresem, w którym kontakty te stały się wyjątkowo intensywne, a polska literatura, zwłaszcza ta z kręgu pozytywizmu, zyskała w Rosji oszałamiający wręcz rezonans («Sienkiewicz pod względem popularności, którą cieszył się u rosyjskiego czytelnika i miejsca, które jego książki zajmowały wśród lektur rosyjskiej inteligencji, rywalizował wówczas z takimi gigantami literatury światowej jak Lew Tołstoj czy Emil Zola» (s. 24) – pisze nasz autor. Choriew omawia i późną twórczość polskich pozytywistów (miejscami bardzo szczegółowo, analizując i utwory dziś już nawet w Polsce niemal całkiem zapomniane, jak «Dzieci» Prusa), i najważniejsze zjawiska spod znaku «Młodej Polski»; wśród tych ostatnich, jeśli idzie np. o prozę, najwięcej uwagi poświęca Żeromskiemu, ale też uwydatnia nowatorstwo Berenta i Irzykowskiego czy oryginalność również bardzo w swoim czasie w Rosji popularnego Przybyszewskiego. «W polskiej literaturze przełomu XIX i XX stulecia – sumuje – ukształtowały się i przejawiały wszystkie główne tendencje obserwowane w literaturach europejskich, przy czym z reguły stanowiły one zjawiska nie zapożyczone czy wtórne, lecz wyrosłe w sposób organiczny i równoległe w czasie z analogicznymi prądami w

piśmiennictwie zachodnioeuropejskim i rosyjskim» (s. 51). W oglądzie literatury międzywojnia Choriew, wierny swej innej ze sformułowanych w przedmowie zasad, że trzeba unikać automatycznej, a nader koniunkturalnej zmiany niegdyś plusów na minusy i odwrotnie, niemało pisze i o nurtach lewicowych – twórczości Jasińskiego, Broniewskiego i Kruczkowskiego, Wasilewskiej i grupy «Przedmieście»; podkreśla wagę «Przedwiośnia» Żeromskiego («najdoskonalszy artystyczny wyraz sprzeczności w powojennej Polsce» – s. 84), z twórczości skamandrytów wyróżnia poezję Tuwima i prozę Iwaszkiewicza, oddaje, co się należy, Przybosiowi i Leśmianowi, Dąbrowskiej i Nałkowskiej, z głębokim uznaniem pisze o «wielkiej trójcy» – Witkacym, Schulzu i Gombrowiczu («Witkacy był prekursorem nowatorskiej dramaturgii, która szeroko rozpowszechni się w literaturze zachodnioeuropejskiej po drugiej wojnie światowej» – s. 105). Za ważną cezurę wewnętrzną literatury międzywojnia uznaje początek lat trzydziestych, kiedy to debiutowało pokolenie nieobciążone już brzemieniem romantycznej tradycji i kiedy zarazem wyraźnie dają o sobie znać nastroje katastroficzne; w podsumowaniu całej epoki wyraża pogląd, że jeśli «Młodą Polskę» cechowała mozaikowata różnorodność tendencji i poetyk artystycznych, to literaturę międzywojnia charakteryzuje ich wyraźna polaryzacja na realistyczne i awangardowe, obie skądinąd w swych owocach bogate.

Niemal dwie trzecie książki Choriewa traktuje o literaturze okresu Polski Ludowej. Bez niedomówień rysuje autor tło polityczne: «Wyzwolenie Polski przez wojska radzieckie uratowało naród polski od biologicznej zagłady, którą stawiali sobie za cel naziści, ale nie dało mu możliwości swobodnego wyboru swego ustroju politycznego» (s. 121). W prozie pierwszych lat powojnia Choriew za najwybitniejszą indywidualność pisarską uznaje Borowskiego; z literatury rozliczającej rzeczywistość II RP wyróżnia «Mury Jerycha» Brezy, najbardziej wiarygodny literacki obraz Września dostrzega w «Polskiej jesieni» Jana Józefa Szczepańskiego, a najbardziej sugestywny artystyczny dokument o okupacji – w «Medalionach» Nałkowskiej, podkreśla również znaczenie pierwszego literackiego świadectwa o Powstaniu Warszawskim – tomu „Ślad” Bratnego; jest też oczywiście sporo o «Popiele i diamencie» Andrzejewskiego. Co do poezji tych lat, obok Broniewskiego zwraca szczególną uwagę na debiut Różewicza, przytaczając opinię Piotra Kuncewicza, że debiut

ów «był tym dla poezji powojennej, czym „Ballady i romanse” dla pierwszej połowy dziewiętnastego wieku» (s. 169) i przywołując słynny skierowany do młodego poety wiersz Miłosza. Czas realizmu socjalistycznego w polskiej literaturze kwituje poprzez przytoczenie znanych słów Krzysztofa Teodora Toeplitza z 1956 r. o «okresie najwyższego chyba w dziejach triumfu zasady, że jeśli fakty nie zgadzają się z teorią, to tym gorzej dla faktów» (s. 179).

Spośród pokolenia, które dało o sobie znać po 1956 r., za najbardziej utalentowanego prozaika Choriew uważa Hłasę; za najbardziej wszakże dla nowych tendencji charakterystyczne i zarazem najbardziej udane artystycznie uznaje ówczesne książki Konwickiego i Macha. Obok szerokiego omówienia dorobku literatury o tematyce wojennej i okupacyjnej wyraźnie nasz badacz podkreśla też rolę, jaką odegrał w tych latach tzw. nurt chłopski – utwory Kawalca, Brylla, Nowaka, Myśliwskiego. Co do dramaturgii, między innymi zwraca uwagę na ostatnie sztuki Kruczkowskiego i przypomina sukces «Nocy listopadowej» Brylla; co do poetów, sporo pisze, poza Różewiczem, o Szymborskiej, Herbercie, Harasymowiczu, Grochowiaku, Białoszewskim. Lapidarne podsumowanie okresu 1956–1968 wygląda tak: «Zorientowanie literatury na krytyczną analizę rzeczywistości, jej wyraźny zwrot ku artystycznej penetracji moralnych i światopoglądowych problemów jednostki doprowadziły do radykalnego odnowienia środków wyrazu artystycznego. W latach sześćdziesiątych powstało wiele znakomitych dzieł, które wzbogaciły kulturę narodową i światową (...) Światowe uznanie zdobyły dramaturgia Mrożka i Różewicza, fantastyka Lema» (s. 236).

Relatywnie najszerzej opisuje Choriew dwie ostatnie dekady Polski Ludowej – lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Panorama, którą rysuje, łączy erudycję z obiektywizmem – jest w niej miejsce i na te ważne zjawiska i nazwiska, które często z niejasnych (?) przyczyn pomijają badacze polscy, np. Tadeusza Siejaka czy Halinę Anderską. Zdaniem Choriewa w obu tych dziesięcioleciach czołowe pozycje w naszej literaturze zajmowali pisarze starszego i po części średniego pokolenia; próby wprowadzenia nowej problematyki i nowych środków wyrazu, przedsięwzięte przez przedstawicieli «Nowej Fali», zakończyły się powodzeniem tylko częściowym. Pod koniec wieku – zauważa też Choriew – stracił aktualność konflikt pomiędzy realizmem a modernizmem, determinujący dynamikę rozwoju

literatury w ciągu większej części dwudziestego stulecia. Fascynuje naszego badacza późna twórczość Iwaszkiewicza (w pełni przychyła się do opinii Janusza Rohozińskiego, że w swych ostatnich wierszach poeta osiągnął «taki stopień doskonałej prostoty, który można porównać tylko z prostotą największych liryków – Goethego czy Mickiewicza» – s. 240); skądinąd pisze też o nagonce, jaką na Iwaszkiewicza rozpetano u nas po jego śmierci i o tych, którzy stanęli w jego obronie. Podkreśla Choriew rezonans, jaki zyskała i wpływ, jaki okazała, poezja Herberta i Miłosza, wyróżnia osiągnięcia prozy historycznej Kuśniewicza i Władysława Terleckiego oraz nurtu chłopskiego, w tym Redlińskiego i zwłaszcza Myślińskiego, odnotowuje sensacyjny późny debiut Rylskiego, konstatuje artystyczną mizериę «antysocjalistycznego realizmu» stanu wojennego (jeden z wyjątków czyniąc dla «Rozmów polskich latem roku 1983» Jarosława Marka Rymkiewicza) i czytelniczą porażkę utworów z kręgu «rewolucji artystycznej», której patronował Bereza, szeroko omawia osiągnięcia gatunków parabeletrystycznych. Dopełnia swą summę Choriew telegraficznym wyliczeniem najważniejszych zjawisk i dzieł lat ostatnich, kończąc ich szereg «Czarnoruską kroniką trędowatych» Kabatca.

Jeśli ośmieliłbym się monografii Choriewa cokolwiek zarzucić, to może tylko rzecz, w której niedawno w koszalińskim «Miesięczniku» Waclaw Sadkowski obwinił i krytyków polskich – niejaki niedocenienie dwóch naszych wielkich i jedyńskich w swoim rodzaju nowatorów i eksperymentatorów, Parnickiego i Buczkowskiego. W całości zaś fundamentalna książka Profesora Wiktora Choriewa musi wzbudzić najgłębszy szacunek – za sprawą i swego zakroju, i bogactwa treści, i solidności, i walorów formalnych. Jej edycja ma znaczenie tym większe, że jest na pewno jedną z pierwszych (a być może w ogóle pierwszą) syntezą polskiej literatury ostatniego wieku, na jaką zdobył się badacz obcy i że jej adresatem jest publiczność kraju i narodu, który wciąż stanowi największe, najbardziej kompetentne i najwdzięczniejsze audytorium polskiej kultury za granicą.

¹ *Хорев В.А.* Польская литература XX века. 1890–1990. М.: Индрик; Польский культурный центр, 2009. Далее в тексте ссылки на это издание с указанием страниц. – *Ред.*

² *Хорев В.* Польская литература XX века глазами русского полониста // Москва – Варшава / Warszawa – Moskwa. 1900–2000 / Ред. Л. Иовлева, М. Попшенцкая. Варшава: «Захента», 2004. С. 117–127. – *Ред.*

**Поэт как переводчик
(к проблеме изучения вопроса
на материале польской и русской литературы)**

Владимир Британишский, прекрасный переводчик польской поэзии, создал в книге воспоминаний «Поэзия и Польша. Путешествие длиной полжизни» (Москва, 2007) своеобразную хронику своих встреч с польскими поэтами на протяжении более пятидесяти лет, начиная с 60-х годов XX столетия. Он и его жена, Наталья Астафьева, поэтесса с польской родословной, составили несколько антологий польской поэзии, посвятив этой поэзии всю свою жизнь. Популяризацию ее в России Британишский и Астафьева считают своей миссией, а почти каждого поэта, которого переводят, знают лично, стараясь и изучить его, и понять, и полюбить.

К сожалению, в Польше нет аналогичных по замыслу и размаху публикаций. Есть множество антологий русской поэзии, издается русская проза, в польских вузах на материале русской литературы ведутся курсы теории и практики перевода. В часто переиздаваемой антологии Эдварда Бальцежана «Польские писатели об искусстве перевода» (первое издание – 1977 год) можно обнаружить высказывания выдающихся писателей (таких как Мария Домбровская, Юлиан Тувим) об их опыте работы над переводами с русского языка. Однако никому из польских славистов или литераторов пока не пришло в голову подготовить компендиум по истории русских переводов польской литературы и, наоборот, польских – русской. Не хватает исторического обзора польско-русских литературных связей – для начала хотя бы поэтических. Обзора, несущего информацию, кто и почему (от Адама Мицкевича до Адама Поморского) переводил русскую литературу на польский язык, как возникли те или иные переводы и как оцениваются их уровень читателями и критикой. Несомненно существуют отдельные научные труды, исследующие некоторые аспекты этой проблематики (например, монография Яна Орловского «Из истории антипольской мании в русской литературе: с XVIII века до 1917 года», 1992) или исследование Анны Легежиньской «Переводчик и его авторская компетенция: на материале послевоен-

ных переводов поэзии А. Пушкина, В. Маяковского, И. Крылова и А. Блока» (1986), однако целостного взгляда на искусство перевода с русского языка на польский и обратно в Польше пока нет.

А ведь Польша, ее история и культура испокон веков вдохновляла русских, а русская – поляков. Вне зависимости от хода исторических событий и причин взаимной политической вражды. Часто цитируется П.А. Вяземский, который, оказавшись в Варшаве, написал в своих дневниках, что Польша показала ему голосом поэзии. Крылатыми стали слова Бориса Слуцкого о том, что нет большей точности, «чем русский стих сравнить с поляком. Поэзию родную с Польшей». Стихотворение это Слуцкий посвятил, как известно, Владиславу Броневскому, в день его рождения. Броневскому, который еще до войны, а после нее – до конца жизни, помимо оригинального творчества, занимался и переводами русской литературы.

Однако взаимное увлечение поэтов двух соседствующих народов исчезло после распада СССР, тем более, что многие из переводчиков, исследователей польско-русских литературных связей и популяризаторов в Польше русской культуры уже ушли из жизни – среди них Северин Поляк, Виктор Ворошильский, Анджей Дравич, Збигнев Подгужец, Флориан Неуважный, Анджей Мандальян. По другую сторону границы имели место не меньшие потери – умерла профессор МГУ, столько сделавшая для Польши и поляков Е.З. Цыбенко, несколько раньше – В.Д. Оскоцкий, популяризатор русской литературы в Польше, полонист по образованию, а в ноябре 2011 года пришло известие о смерти великолепного переводчика польской поэзии Анатолия Гелескула.

Цель настоящей статьи - напомнить о подзабытых польских переводчиках русской литературы, которые сами были известными поэтами, с учетом влияния русской поэзии на их оригинальное творчество. Это Казимера Иллакович и Владзимеж Слободник, о которых довольно обширно писал в своих воспоминаниях Британишский. И, с другой стороны, – проанализировать творчество русских поэтов (в частности, Давида Самойлова и Бориса Слуцкого), в жизни и творчестве которых Польша, поляки и польская культура занимали немаловажное место.

Казимера Иллакович (1892–1983), прекрасно владевшая русским языком, в юности учившаяся в Петербурге, одна из известнейших польских поэтесс XX века, в своем оригинальном творчестве также обращалась к русским темам. Сподвижница Юзефа Пилсудского (оставившая о нем восхищенные воспоминания «Тропа вдоль дороги») опубликовала в 1927 году поэму «Повесть о московском мученичестве», посвященную событиям большевистского переворота 1917 года и стилизованную под историческую хронику. Целесообразно сравнить это произведение о терроре с блоковской поэмой «Двенадцать», а также со стихами Марины Цветаевой этого периода. В послевоенное время Казимера Иллакович перевела на польский язык «Анну Каренину» Льва Толстого – весьма поучительны ее замечания об опасностях, подстерегающих польских переводчиков русских художественных произведений.

Влодзимеж Слободник (1900–1991), вступил в литературу ее в 20-е годы XX века и оставил читателю не только богатое оригинальное творчество, но и множество переводов русских поэтов – в частности К. Рылеева, А. Блока, В. Брюсова, В. Маяковского, О.Э. Мандельштама. В оригинальной поэзии Слободника, которая, на что обращает внимание В. Британишский, образна и насквозь проникнута музыкой, встречаются не только стихи, посвященные русским художникам (такие как «Лермонтов», «Живопись Рублева», «Над могилой Льва Толстого в Ясной Поляне»), но и цикл произведений, названных автором «симфониями» («Симфония женского тела», «Симфония заката», «Революционная симфония», «Еврейская симфония», «Зимняя симфония» и т. д.), где несомненно проявляется влияние Андрея Белого.

Более глубокого анализа, чем это было сделано до сих пор, заслуживают также переводы с польского Давида Самойлова – мастера русской поэзии, переведившего польских романтиков (в частности, Словацкого и Норвида) и поэтов XX века – Тувима, Галчиньского и др. Не менее интересны польские мотивы в оригинальном творчестве Д. Самойлова – еще в поэме «Ближние страны» он вспоминал, как «наша молодость мчится по Польше» и с глубоким сочувствием отразил трагедию варшавского восстания. В его «Поденных записях» живой интерес к Польше проявляется постоянно, нарастая в 1980-е годы, когда в нашей стране возникла и начала борьбу с коммунистической властью «Солидарность».

Образ Речи Посполитой в представлении Ф.В. Булгарина

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1859) – один из самых популярных российских писателей первой половины XIX века, известный журналист, редактор и издатель многих журналов и самой популярной газеты первой четверти XIX в. – «Северной пчелы».

Булгарин никогда не скрывал своего польского происхождения, а Польша и поляки очень долго являлись главной темой его творчества. На протяжении сорокалетней литературной деятельности Булгарина польская тема регулярно находила себе место на страницах его произведений. Во многих известных произведениях Булгарина («Мазепа», «Воспоминания») затрагивалась история Речи Посполитой, а в некоторых («Марина Мнишек – супруга Дмитрия Самозванца», «Дмитрий Самозванец», «Бегство Станислава Лещинского из Данзига») она становилась и главным сюжетом. Булгарин касался истории Речи Посполитой также в многочисленных статьях, публиковавшихся в «Северной пчеле».

В отличие от большинства польских писателей Булгарин не идеализировал истории Речи Посполитой. Он описывал причины ее падения и многочисленные пороки поляков. Особой критике подвергались практически все выборные короли, поведение польской шляхты, злоупотребление *liberum veto*, влияние иезуитов и государственный строй Польши в целом. Писатель также отмечал и другие стороны Речи Посполитой: ее знаменитых представителей, моменты ее славы и величия, тем самым показывая, что в свое время Польша была одним из самых крупных государств Европы. Булгарин способствовал ознакомлению читателей Российской империи с образом Речи Посполитой. Представляя пороки польской шляхты, он стремился к тому, чтобы опыт Речи Посполитой оказался полезным для Российской империи.

Wielka Smuta w pamięci historycznej Polaków

Odmienne niż w świadomości Rosjan, wydarzenia Wielkiej Smuty nie zajmują – i nigdy nie zajmowały! – zbyt wiele miejsca w pamięci zbiorowej Polaków. Mimo iż w dobie rozbiorów odwoływano się chętnie do rozlicznych przewag orężnych nad zaborcą, to obecność wydarzeń z lat 1604–1619 prezentuje się w polskiej literaturze i sztuce stosunkowo skromnie, nie osiągając przy tym szczególnych wyzryn, jak zaświadczały nieudany dramat *«Car Dymitr Joannowicz»* Adolfa Nowaczyńskiego (1908) i dwa płótna Jana Matejki, ukazujące hold Szujskich przed Zygmuntem III (1853, 1892), z których późniejsze – bardziej udane – zainspirowane jest skądinąd znaną pracą nadwornego malarza Wazów – Tomasso Dolabelli. Nieco bardziej okazały dorobek posiada w tej materii literatura XX-wieczna (powieści: *«Złota wolność»* Zofii Kossak – 1928; *«Carskie wrota»* Andrzeja Stojowskiego – 1975, oraz *«Crimen»* Józefa Hena – 1975, a także awanturniczka trylogia Kazimierza Korzkowicza *«Jeźdźcy Apokalipsy»* – 1990); w ostatnich latach pewne zainteresowanie budzi wielotomowa powieść Jacka Komudy *«Orły na Kremlu»* (nieukończona, w latach 2009–2011 ukazały się drukiem 3 tomy).

Jeszcze rzadziej tematyka Smuty i Dymitriad pojawiała się – o dziwo! – w polskim malarstwie historycznym, czego miarą jest kompletne jej pomijanie przez niemal wszystkich wybitniejszych batalistów – piewców okresu staropolskiego. Symptomatyczne, iż o ile w twórczości Juliusza i Wojciecha Kossaków, Józefa Brandta, Stanisława Kaczora Batowskiego i Wacława Pawliszaka równoległe niemal w czasie z Dymitriadami przewagi polskiej husarii pod Kircholmem (1605) i Chocimiem (1621) pojawiają się stosunkowo często, to wspaniała wiktoria kłuszyńska (1610) nigdy nie zainspirowała ich pędzla. (Na marginesie warto natomiast przypomnieć jedno jeszcze płótno, odnoszące się do Smuty – dzieło ucznia Matejki – Maurycego Gottlieba *«Scena z życia Dymitra Samozwańca»*). Zjawisko to dobrze ilustruje tendencję wspólną dla literatury i sztuk pięknych: w dobie twórczości «ku pokrzepieniu serc» symbolem utraconej polskiej dominacji na Wschodzie stawała się bynajmniej nie Smuta, rekuperowanie przez Zygmunta III Smoleńszczyzny i ziemi czernihowsko-siewierskiej oraz wiktoria kłuszyńska 1610 i

dwuletnie rządy w Moskwie, ale wcześniejsze zapasy z Iwanem IV Groźnym, a zwłaszcza wyprawy batoriańskie, których ucieleśnieniem stał się pozostający w jawnej wszak sprzeczności z prawdą historyczną *«Batory pod Pskowem»* Jana Matejki!

Paradoks ów – szczególnie intrygujący, jeśli pamiętać o nakładach dworu zygmuntońskiego, przeznaczonych na propagandę antymoskiewską i uwiecznienie przewag pierwszego Wazy na Wschodzie (wielkie przedsięwzięcia malarskie, medale okolicznościowe, literatura okolicznościowa, teatr jezuicki) – wyjaśnić można bodaj tylko powszechną niechęcią społeczeństwa szlacheckiego do samego monarchy i jego «awantury moskiewskiej» oraz jeszcze bardziej powszechnym niezadowoleniem z ostatecznego wyniku wojny. Znaczące zdobycze terytorialne okupione zostały wielkimi nakładami, zaś świadomość roztrwonionego tryumfu, zaprzepaszczonych szans na wieczny pokój (lub unię dynastyczną), pamięć o popełnionych okrucieństwach, wreszcie – szokujące pogłoski o kanibalizmie polskiej załogi Kremla, przydawały zwycięstwu sporą dozę goryczy i roztaczały wokół aureę wstydu. Punkt widzenia niemałej części polskiej elity dobrze ilustruje dzieło kanclerza i hetmana Stanisława Żółkiewskiego – rzeczywistego architekta nieudanego porozumienia polsko-rosyjskiego z 1610 r. (*«Początek i progres wojny moskiewskiej»*). Kolejne pokolenia poszły za przykładem poddanych Zygmunta III, ocierając się z czasem zgoła o zapomnienie krótkotrwałej wprawdzie, ale imponującej dominacji nad Moskwą. (Na marginesie warto zapewne zauważyć, iż wątek moskiewski odgrywał istotną rolę w patriotycznej legendzie samego Żółkiewskiego, co zauważyć można nie tylko na przykładzie twórczości Zofii Kossak, ale i w *«Dumie o hetmanie»* Stefana Żeromskiego).

Poniekąd odnieść można wrażenie, iż zarówno w XIX-wiecznej świadomości Polaków, jak i w dobie współczesnej pamięć o naszych rodakach, hulających zagonami po bezkresach Rosji i rezydujących na Kremlu, świeci niejako światłem odbitym, wywołana postawą potężnego sąsiada. Symptomatyczne, iż udział Polaków w wydarzeniach Smuty, włącznie z przewagami lisowczyków, znacznie lepiej znany był mieszkańcom Kongresówki, niż pozostałych zaborów, chociaż przeważająca część publikacji naukowych na powyższy temat ukazała się w Galicji. Nie ulega wątpliwości, iż powyższy stan rzeczy był reakcją na obszerny wykład

dziejów Smuty w carskich podręcznikach szkolnych, na obfitą rosyjską twórczość literacką i artystyczną (także muzyczną – popularne opery «*Życie za cara*» Michała Glinki i «*Borys Godunow*» Modesta Mussorgskiego), wreszcie – na oficjalne poczynania rosyjskich władz (np. obchody 300-lecia domu Romanowów). Analogicznie dopatrzeć się można związku między niedawnym eksploataowaniem wątku Smuty w oficjalnej rosyjskiej propagandzie i sztuce (święto 4 listopada, film W. Chotiniienki «1612»), a pojawieniem się w polskiej literaturze «patriotycznego antidotum» w postaci twórczości Jacka Komudy.

Dodajmy, iż również dorobek polskiej historiografii XIX–XX w. zdaje się wykazywać stosunkowo mało cech ideologicznych: początek tej chwalebnej tendencji datuje się bez wątpienia od czasów Juliana Ursyna Niemcewicza (eksploatującego wątek Smuty również w swym literackim wcieleniu – w «*Śpiewach historycznych*»), który nad podziw obiektywnie zrelacjonował zarówno sam przebieg Dymitriad, jak i rokowania dywilińskie (oczywiście na miarę ówczesnej wiedzy źródłowej). Poszli w jego ślady również kolejni badacze Smuty: Aleksander Hirschberg, Waclaw Sobieski, Jarema Maciszewski, Danuta Czerska i Wojciech Polak, którzy – spierając się zazwyczaj w pierwszej kolejności o ocenę polityki Zygmunta III i ewentualne szanse polsko-moskiewskiej unii państwowej – nie trafilii bynajmniej z oczu negatywnych aspektów polskiego zaangażowania w Rosji.

Поляк, венгер – два братанки

Регион Центрально-Восточной Европы в XV–XVIII вв. находился в страшных тисках. С двух сторон на него давили Российская и Священная Римская (в сущности – германская) империи, с третьей – Османская, с четвертой – еще и шведы. Все эти четыре грозные силы, естественно, противоборствовали друг с другом. С некоторой долей цинизма можно сказать: именно постоянная угроза покорения, даже полного уничтожения способствовала тому, что славянские и неславянские народы, населяющие это «буферное» пространство, выработали у себя очень высокую степень жизнеспособности, сумели не просто не утратить свой язык, свое национальное самосознание, но и сохранять и развивать самобытную культуру.

Это относится прежде всего к полякам и венграм, которые в указанную эпоху оставались – даже при весьма проблематичном состоянии их государственности – двумя самыми значимыми факторами в жизни региона. Именно тогда сложились между ними отношения взаимного интереса, доброжелательства и сотрудничества, а время от времени и военного союзничества. Такие отношения иногда перерастали едва ли не в симбиоз. Во времена турецкого нашествия венгры в массовом порядке укрывались в Польше. В 1576 г. трансильванский князь Иштван Батори стал польским королем Стефаном Баторием. Вспомним также князя Ференца II Ракоци, для которого Польша была чем-то вроде базы, где он готовился к освободительной войне против Австрии – и оттуда в июне 1703 г. вступил на территорию Венгрии.

Поляки активно помогали венграм во время национально-освободительной войны 1848–1849 гг.; генерал Йозеф Бем был одним из самых эффективных военачальников венгерской революционной армии.

Продолжать примеры можно долго, вплоть до Второй мировой войны, когда более ста тысяч поляков, в основном солдат, из захваченной Гитлером Польши бежали в Венгрию, и Венгрия дала им убежище, хотя была связана с Германией военным союзом. И вплоть до 1956 года: хотя венгерское

восстание не было прямо связано с польскими волнениями, но совпадение не совсем случайно.

Таким образом, в государственной, в общенациональной, в общественно-политической сфере многовековая традиция взаимного интереса, взаимопомощи, взаимодействия налицо. И она просто не могла не породить аналогичных явлений в духовной сфере; в том числе и в литературе.

Тема эта – огромная; я затрону лишь один момент, который кажется мне и интересным, и показательным. И к тому же, являясь фактом художественной литературы, имеет прямое отношение к истории.

Речь идет о творчестве одного из крупнейших современных венгерских прозаиков и драматургов, Дёрдя Шпиро. Его исторические романы, насыщенные тщательно собранным и органично встроенным в художественный текст фактическим материалом, охватывают диапазон от Древнего Рима до XIX века.

Но в центре его внимания, вне всяких сомнений, находится Польша. И это совсем не случайно: духовное родство венгров и поляков было предпосылкой для того, чтобы все то, что писатель раскрывает, изображает на польском (чужом и одновременно как бы родном) материале, звучало для венгерского читателя достаточно доходчиво – может быть, даже (и вряд ли это такой уж парадокс) доходчивее, чем на своем.

Роман «Иксы» («Az Ikszek», 1981) и пьеса «Возмутитель спокойствия» («Az imosztor», 1983) посвящены великому польскому актеру, театральному деятелю Войцеху Богуславскому. Точнее, его борьбе против могущественного «Общества Иксов» – тайной организации, напоминающей масонскую ложу, но опирающейся на охранительские, реакционные идеи. Богуславский борется с ними тем оружием, которым лучше всего владеет, – оружием актерского мастерства. Своим сценическим поведением, актерскими находками он зажигает зрителей, городские массы. Богуславский одерживает убедительную моральную победу над Иксами, над силами мракобесия, – но сам гибнет в этой борьбе. (Интересно, что реальный Войцех Богуславский прожил на десять лет дольше, но писатель предпочел не брать во внимание эти десять лет. Видимо,

потому, что это были десять лет сломленного, сдавшегося человека.)

Вторая «польская» тема Шпиро – польская эмиграция в Европе после разгрома восстания 1831 г.: тяготы жизни на чужбине, надежды и безнадежность, столкновения между лидерами. В этой атмосфере появляется пророк, а может, мессия (он считает себя новым Христом), Анджей Товяньский. Он называл Польшу новой Святой Землей, поляков – новым избранным народом и пророчил изнывающим от бессмысленного ожидания эмигрантам скорый триумф правого дела, победу над российским самодержавием. Апостолами нового мессии становятся Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий и другие деятели польской культуры.

Первый роман на эту тему, «Пришелец» («Jövevény»), Шпиро публикует в 1990 г.; а почти через два десятка лет, обработав огромное количество документов, в 2007 г. издает новый вариант романа, уже под названием «Мессии» («Messiások»).

Здесь как и в «Иксах», исторический материал служит поводом для глубоких, мучительных, почти не имеющих решения размышлений о власти. На сей раз – о власти иллюзий, об одержимости, которая, «овладевая массами», возводит свое воздействие в степень. Недаром «мессия» фигурирует здесь во множественном числе: те, кто втянут в орбиту влияния мессии, сами становятся «мессиями», разнося вирус по градам и весям.

Если в «Иксах» обращение к польской теме было до определенной степени «эзоповым» приемом, то в «Мессиях» – способом выйти на широкий, не ограниченный национальными или региональными рамками простор общечеловеческой проблематики. Но, разумеется, сам факт прямого контакта культур не затеняет, а усиливает этот момент. Недаром роман «Мессии» в 2010 г. получил Центральноевропейскую литературную премию «Ангелус» (во Вроцлаве).

Картина современной России в литературных репортажах Яцека Хуго-Бадера

В докладе анализируются три изданных в последние годы сборника репортажей («Белая горячка», 2009; «В райской долине среди сорняков», 2010; «Колымские дневники», 2011) Яцека Хуго-Бадера. Автор книг – современный польский журналист, лауреат премий «Grand Press» и «Bursztynowy Motyl». В перечисленные сборники вошли тексты, родившиеся в результате путешествий автора по территории России в течение последних двадцати лет.

Стараясь разгадать особенности разных вариантов русской картины мира, автор репортажей рассматривает разные типы русского культурного пространства (Москва, Санкт-Петербург, русская «глубинка», села и города русского Севера и Сибири), встречается как с известными, так и с простыми русскими людьми, с российскими гражданами, живущими на родине и в странах СНГ. Среди описываемых им героев часто встречаются люди с необычной судьбой: ученые, священники, ветераны афганской войны, бывшие зеки, представители молодежных субкультур, сектанты, бомжи.

Самое важное для автора – показать связь времен, отраженную в судьбах встреченных во время путешествия людей, и воспроизвести картину русской повседневности, показать заботы и мечты, жизненные установки и круг ценностей современных россиян.

Характерный для поэтики репортажей Хуго-Бадера прием – ссыла на опубликованный в прошлом текст и следование по местам и судьбам его героев. Таким образом автор стремится уловить перемены в русской ментальности, влияние системной трансформации последних двадцати лет на сознание своих персонажей сегодня.

Язык текстов Хуго-Бадера насыщен русизмами и русскими жаргонизмами. Часто объяснение значений применяемых в репортаже русских слов и выражений становится лейтмотивом или конструктивным принципом композиции

текста. Эти стилистические приемы не только способствуют воссозданию локального колорита среды, но и оказываются маркерами аутентичности и знаком обретения автором общего языка с героями репортажа, а также выступают в роли своего рода моделей повседневности. В стилистическом плане репортажи Хуго-Бадера до некоторой степени напоминают языковую стратегию Мариуша Вилька – писателя и журналиста, постоянно живущего в России, но публикующего свои русские репортажи и дневники в Польше.

Российские репортажи Хуго-Бадера отличаются своеобразием точки зрения автора, который смотрит на события, пространство и людей в ограниченной перспективе, анализирует мир в микромасштабе.

В хронологическом ракурсе тексты Хуго-Бадера – продолжение классического для жанра польского литературного репортажа текста Рышарда Капуциньского «Империя» (1993), представлявшего советскую империю и процесс ее распада. Хуго-Бадер стремится показать те же территории двадцать лет спустя. Однако, учитывая поэтику текста и способ конструкции изображенного мира (т. е. отобранных для описания элементов действительности), Хуго-Бадер применяет другую точку зрения, чем его предшественник и основоположник жанра. Во вступлении к сборнику «Белая горячка» журналист Мариуш Щигел заметил, что Капуциньский «описывал империю с высоты птичьего полета». Хуго-Бадер же «описывает империю с перспективы бродячей собаки». Цель же у обоих авторов одна – стремление понять русских, проникнуть в их способ мышления.

**Dwie powieści Władysława Terleckiego
o powstaniu styczniowym
(«Spisek», «Dwie głowy ptaka»)**

Celem szkicu będzie opis i interpretacja wymienionych powieści pod kątem realizowania przez nie hipotetycznych założeń autora, co pozwoli na sformułowaniu paru myśli o skutkach wprowadzenia do powieści historycznej personalnej perspektywy narracji.

«Spisek» pisano w latach: 1962/1963–1965, «Dwie głowy ptaka»: 1967–1969.

Genezy utworów należy szukać w zaangażowaniu się Terleckiego w dyskusję o polskim charakterze narodowym, o roli walk narodowowyzwoleńczych i tradycji, charakterystyczną dla przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Jego stanowisko ulegało zmianom. W roku 1959 bronił antyromantycznego, neopozytywistycznego i pragmatycznego programu Stanisława Grochowiaka i innych młodych pisarzy pokolenia «Współczesności». W rocznicowym, 1963 roku występował już jako obrońca – w imię historycznej prawdy – zasadności i znaczenia czynu powstania styczniowego, udowadniając, że lojalistyczno-pozytywistyczny program odzyskania niepodległości był wtedy bezsensowny.

«Spisek» napisał, by przeciwstawić się romantycznej legendzie i stereotypowemu patrzeniu na przeszłość, przeszkadzającemu poznaniu współczesności. Chciał rozbić «fałszywy» stereotyp ukazaniem «prawdziwego» faktu.

Zajął się w nim postacią i «sprawą» Stefana Bobrowskiego, faktycznie kierującego powstaniem styczniowym w okresie styczeń-luty 1963, który zginął w kwietniu tegoż roku w pojedynku, sprowokowanym przez rodaków ze stronnictwa «białych». Dla kompozycji «Spisku» najistotniejszy jest postulat równoczesnego ukazania czytelnikowi prawdziwego, nieschematycznego człowieka przeszłości i faktów przeczących legendzie. Postulat pierwszy wymagał zastosowania zdobyczy nowoczesnej powieści psychologicznej z personalną perspektywą narracji, a drugi – dostarczenia maksymalnej i obiektywnej informacji, czego może dokonać tylko narrator obiektywny. Sprzeczność ta stworzyła w utworze charakterystyczną sferę napięć.

Narrator «Spisku», trzecioosobowy, nie zmienia «tu i teraz» obserwacji, wszystko o czym oznajmia nie może przekraczać hory-

zontu myślowego Bobrowskiego – konsekwentne wprowadzenie do powieści personalnej perspektywy narracji równa się zastosowaniu konwencji «wspólnej wiedzy» czytelnika i autora o epoce, uniemożliwia zatem autorowi wiarygodne zaprezentowanie faktów obiektywnych, których czytelnik nie zna, a – zdaniem autora – powinien się o nich dowiedzieć. Z drugiej strony jednak – pogardzając powieścią historyczną, mającą opisywać fakty znane – Terlecki wręcz zakładał niski poziom świadomości historycznej czytelników i nie mógł zrezygnować z przekazania im wiarygodnej wiedzy, przynajmniej o najbardziej istotnych wydarzeniach.

Metoda, zgodnie z którą czytelnikowi prezentuje się fakty, jest więc w «Spisku» dwojaka: to, co mniej ważne, nie wiążące się bezpośrednio ze «sprawą Bobrowskiego», konsekwentnie «oświetlane» jest przez «centralną świadomość utworu» (narratora personalnego) z jej osobistego punktu widzenia i składa się na magmę świadomości Bobrowskiego. Natomiast to, co kluczowe – musiało jawić się czytelnikowi jako obiektywne i rzeczywiste. Stąd w utworze pojawiają się środki przekazu informacji nie do pogodzenia z przyjętą perspektywą narracyjną, jak bohaterowie – autorscy rezonerzy; okazało się konieczne opatrzenie utworu odautorskim wstępem wyjaśniającym fabułę. Nie udało się także utrzymać psychologicznej konsekwencji głównej postaci – sam Bobrowski musiał domyślić się przyczyn swego losu (i mimo tego nie zmienić postępowania), bo tylko on mógł o nich autorytatywnie opowiedzieć czytelnikowi.

«Spisek» stanowił hybrydyczny utwór z pogranicza – znanej i dopiero tworzącej się – poetyki. Owo pęknięcie wywołała sprzeczność pomiędzy częścią autorskiego programu nakazującą dostrzeżać w przeszłości autentycznego, pełnokrwistego człowieka, a tą, która kazała jednocześnie podsuwać czytelnikowi historie prawdziwe i ponad wszelką wątpliwość prawdopodobne.

Bohaterem drugiego analizowanego utworu, «Dwóch głów ptaka» jest Aleksander Waszkowski ostatni Naczelnik Miasta, aresztowany w grudniu 1964. Załamał się w śledztwie. Nim go powieszono, *umarł najpierw duchowo, bo zaczął wierzyć w podsuwaną mu prawdę przeciwnika*. [«Po nas jest wszystko», wywiad T. Krzemień z W. Terleckim, «Literatura» 1972/19] i... pomógł Cesarstwu odzyskać ponad trzy miliony rubli, które na początku powstania zdobył.

Powieść konsekwentnie oparto na personalnej perspektywie narracji, która zasadniczo jest niewiarygodna. Cała historia przedstawiona została z punktu widzenia Waszkowskiego, a on, poddawany swoistemu praniu mózgu, nie zdobył się na samoświadomość. Wtedy by nie zdradził. Tę perspektywę prezentuje podstawowy narrator powieści, posiadający wiedzę Waszkowskiego i tylko jego myśli przekazujący czytelnikowi. Przy czym ostatni Naczelnik nigdy nie staje się medium autora, nigdy nie myśli ahistorycznie, co pozwoliło Terleckiemu zrealizować marzenie o prawdziwym i nieschematycznym człowieku przeszłości.

Porozumienie autora z czytelnikiem, pozwalające temu drugiemu rozpoznać istotę opowiadanej w powieści historii, dokonywało się «za plecami narratora», w oparciu o różnorodne sygnały skryte w analogiach między wydarzeniami różnych wątków i motywach obecnych w monologach postaci. Terlecki zachęcał czytelnika do myślenia *per analogiam*.

«Dwie głowy ptaka» były konsekwentnie skonstruowane i poruszały doniosły problem. Czytelnik mógł go jednak rozpoznać, nawiązawszy wspomniane «porozumienie». Recepcja krytycznoliteracka utworu wskazuje jednak, że – poza pewnymi wyjątkami – twórcę odbierano opacznie: nie jako potępienie zdrady a jako pochwałę politycznego realizmu.

Władysław Terlecki, pisarz wrażliwy na bieg historii i wpływ owego procesu na świadomość, w swojej twórczości zainteresował się niekonsekwencją ludzkich postaw, w tym zjawiskami mimowolnej zdrady i kolaboracji. Bezpośrednią genezę «Spisku» i «Dwóch głów ptaka» wyznaczają: «powrotna fala» neopozytywizmu końca lat pięćdziesiątych XX wieku oraz narastanie w Polsce procesów tworzenia się nowoczesnego państwa (stąd problem manipulacji, pojawiający się w powieści o Waszkowskim). Terlecki, historysta o silnym poczuciu społecznej misji postanowił nauczyć czytelników takiego krytycyzmu, który zabezpieczałby przed manipulacją i anachronizmem działania. Czynił to najpierw przez zwykle «odbrązowianie», sprzeczne z istotą współczesnego, wątpliwego i stale niepewnego swoich racji historycznego myślenia, dopiero później stał się historystą naszych czasów. Stąd i sygnalizowana sprzeczność między współczesną formą a staromodną ideą «Spisku» i późniejsza jedność formy i treści w «Dwóch głowach ptaka».

Droga przebyta przez pisarza w trakcie pisania tych dwóch książek jest równocześnie drogą, którą przechodzą współcześni pisarze historyczni. Stało się tak, że rozwój pisarstwa jednego człowieka odbił w sobie problemy rozwoju gatunku, zmieniającego narrację od auktorialnej ku personalnej i rozumienie swej funkcji poznawczej – dotychczasową popularyzację historycznych faktów zastępującego prezentowaniem psychologicznego dramatu jednostki, uczestniczącej w historii – historii niejasnej, zagmatwanej i niepoznawalnej, czyli takiej, jaką była dla tej jednostki.

Сергей Клементьев

(Москва)

Гротескный катастрофизм Р. Яворского (роман «Свадьба графа Оргаза»)

Польская литература 1920-х годов, продолжая принятую еще прозой «Молодой Польши» ревизию модели реалистического романа, сформировала наряду с обновленными, непохожими на прежние реалистическими и психологическими типами прозы особую разновидность – гротескный роман. Гротеск привлекал художников слова особым сопоставлением часто противоречивых мотивационных порядков, намеренным уклонением от единых принципов, управляющих изображенным миром, особой экзотикой, деформацией составных элементов цивилизационного наследия, обыденного опыта мира. Ориентация на гротеск соединялась с сомнением в устоявшихся представлениях о мире и принятых в нем порядков, с недоверием к доминирующей иерархии ценностей, критикой современных социальных процессов, в результате которых усиливаются тоталитарные тенденции.

Гротескные тенденции в литературе нередко сопутствовали катастрофическим картинам конца цивилизации, ощущению гибели традиционных духовных ценностей, сформировавшихся в кругу европейской культуры. В межвоенном двадцатилетии манифестацией катастрофических рефлексий, помимо произведений С.И. Виткевича, было творчество во многом недооцененного прозаика Романа Яворского. Последний был одним из самых больших чудаков и эксцентриков начала XX столетия. Он поддерживал дружеские отношения с С.И. Виткевичем, В. Войткевичем, Л. Хвистеком, К. Ижиковским; считается, что он был предшественником гротескного, экспрессионистского течения, присутствующего позднее в произведениях В. Гомбровича.

В 1925 г. Р. Яворский публикует главное свое произведение – роман «Свадьба графа Оргаза», в котором в гротескной форме изобразил распад европейской культуры, продемонстрировал ее состояние накануне окончательного упад-

ка. События романа разворачиваются в испанском Толедо в 1921 г. Культура находится в состоянии застоя, безвременья; все ценности разрушены: религия превратилась в балаган, шутовство стало предметом культа, человеческая личность оттеснена толпой на задний план социальной истории. Утопическая фабула повествует о споре двух американских миллиардеров Иетмейера и Хэвмейера, которые жаждут преодолеть кризис европейской цивилизации, они от скуки готовы уничтожить мир, похоронить культуру, религию, искусство. Один из них Дэвид Иетмейер, предприимчивый скототорговец, приезжает в Толедо, чтобы открыть апокалиптический дансинг, в котором, по его мнению, должно произойти «искупление» человечества на манер евангельского искупления Христа. Уберечь человечество от деградации, заново его сплотить и воскресить в людях «религию творческой мысли, создать культуру при помощи насильного оживления обесиленной истории» может «спасительная Мистификация», карнавальная, балетная мистерия, созданная по мотивам картины испанского живописца Эль Греко, с той лишь разницей, что у последнего было изображено погребение графа Оргаза, а американский предприниматель желает изобразить свадьбу испанского гранда. Реализатором абсурдной идеи Иетмейера должен стать богач, коллекционер произведений искусства Хэвмейер и прекрасная девица Донна Эвариста, потомок любовницы художника. Виталистическую хореографическую мистерию, по мысли ее организатора, должен осуществить «дьявол танцевального искусства» Игорь Францевич Подрыгалов, который с двенадцатью детьми сбежал из революционной России.

Оппонент Иетмейера Хэвмейер занял иную философскую позицию: считал, что люди должны порвать с прошлым, разорвать все связующие с ним нити, ибо оно лишь представляет готовые примеры для подражания и тормозит оригинальное творчество. Он хочет спасти цивилизованную Европу по-своему: на загадочном Острове Забвения создает ледовое царство и собирает там всевозможные произведения искусства. Страсть к коллекционированию приводит Хэвмейера к попытке перехватить как можно большее количество шедевров прошлых веков и в случае необходимости унич-

тожить их. Таким образом он хочет возродить в погруженных в апатию людях страсть, импульс к творчеству. Этот коллекционер, не разрешая снимать копии, подражать великим мастерам, желает возбудить, стимулировать способности человека к созданию абсолютно новых произведений, заставить обратиться к стихийному творчеству. Он намерен убрать любые произведения искусства, чтобы люди поднялись на вершины мастерства, искусства либо окончательно погибнуть.

Танцевальная мистерия Иетмейера ни к чему не привела, поставленные цели не были выполнены. Гибель старой культуры неизбежна, воскрешение культуры оказалось невозможным – ход истории изменить нельзя. Буффонада Р. Яворского – это выражение неверия в какие-либо ценности. Несостоявшийся спаситель человечества вместе с группой своих сторонников бежит на Остров Забвения, в своеобразную первобытную среду, незараженную цивилизацией.

«Свадьбу графа Оргаза» можно читать как гротескный эпос о мире после потрясения, вызванного Первой мировой войной и ее последствиями. В романном пространстве Р. Яворского господствует всеобщее отрицание, в мире, нарисованном писателем, отсутствуют прочные ценности, всё подвергается иронии и насмешке.

Хаос представленной картины мира Р. Яворского нашел выражение в сумбурной, фрагментарной композиции романа. Каждый из элементов формы получил здесь соответствующий эквивалент в содержании и наоборот. Диалоги, монологи, размышления и описания выполняют в романе двойную функцию. Во-первых, помогают реализовать собственно креативную деятельность, во-вторых, выявляют, экспонируют замысел и мировоззрение. Благодаря таким сознательным композиционным усилиям они создают магию кажущегося хаоса и фрагментарности романа. Писатель намеренно усложнял свое произведение, прибегал к содержательной и формальной алогичности, приводящей к возникновению гротескных ситуаций. Трагическую картину мчащегося к катастрофе мира смягчает и нивелирует абсурд, ибо бессмысленность должна пробуждать смех и иронию. Присущее гротеску контрастное сопоставление, дисгармония, дефор-

мирование изображенной действительности и ослабление логических связей между ее составляющими проявляется на всех уровнях романа Р. Яворского.

Автор «Свадьбы графа Оргаза» строит свой гротескный мир из элементов реальности, процесс ее деформации проявляется не столько в плоскости реалий, сколько исключительно в языковой плоскости. И здесь мы имеем дело с необыкновенной языковой изобретательностью (выдуманная лексика, страсть к неологизмам, языковые каламбуры, анти-тетическое сопоставление слов, эпатирование читателя высказываниями назойливо неправильными, несвязными, подчас противоречащими правилам синтаксиса и т. п.). Писатель разбивает устоявшиеся штампы и клише, выводит читателя из равновесия, провоцирует, а вместе с тем обращает внимание на полифоничность языка. Всеми возможными средствами Р. Яворский стремится выразить в «Свадьбе графа Оргаза» бессмысленную реальность.

Юрий Лабынцев
(Москва)

**Польская агитационная «hutarka» 1863 г.
и ее оценка
Я.И.Н. Бодуэном де Куртенэ**

Около полувека назад академик В.В. Виноградов написал: «Есть имена ученых, входящих в историю отечественной науки разных стран... Уже сама по себе оценка деятельности таких ученых с разных национально-исторических точек зрения, в аспекте истории разных национальных культур и разных национальных путей развития той или иной сферы научного знания представляет большой исторический и теоретический интерес. Такой подход не только допустим и законен, но он уже и осуществляется по отношению к Бодуэну де Куртенэ в русской и польской историографии».

В самом деле, трудно сказать, где, в Польше или России, более популярен Ян Игнаций Нецислав Бодуэн де Куртенэ и его труды. Правда, в СССР и нынешней России о нем писали и пишут почти исключительно как об ученом-лингвисте, а в Польше за последние годы заметно увеличился интерес к нему и как к публицисту и политику. Впрочем, больших обобщающих работ о Бодуэне де Куртенэ пока не появилось, некоторым исключением по-прежнему служит монография немецкого слависта Й. Мугдана.

Летом 1921 г. в Варшаве Бодуэн де Куртенэ, оценивая свой жизненный путь, запишет: «Я растрачивал время на собирание и накапливание неисчислимого количества материалов всякого рода и из самых разнообразных областей. Мог бы обработать самое большее сотую их часть. Но и этого не в состоянии сделать. Ибо материалы эти, вместе со всеми рукописями и униками остались в Петербурге и вероятно пошли или на растопку в печах, или на папиросы для красноармейцев, или еще на что худшее».

Среди «уников» в богатейшем собрании Бодуэна де Куртенэ была и небольшая литографированная брошюрка, подаренная ему известным польским общественным деятелем и публицистом В. Йодко-Наркевичем. Она содержит латинографичный белорусскоязычный стихотворный текст

агитационной «hutarki», относимой нами к особому литературному жанру, развившемуся в начале 1860-х гг. и ставшему частью польской повстанческой литературы, обращенной преимущественно к крестьянству.

В целом, литература эта, за исключением «Муżyskaj graudy», до сих пор мало изучена. В значительной степени тому способствовала анонимность ее произведений, хотя, вслед за академиком Е.Ф. Карским, можно сказать, что их творцы «происхождения... несомненно, польского и католического». В нашем случае автор, хотя бы предположительно, известен. Им был Франтишек Пчычкий, малоизвестное лицо, писавшее панегирические стихи на польском и русском языках.

В свое время такой видный деятель польского восстания 1863 г. как О. Авейде констатировал: «причиной постепенного упадка революции было равнодушие крестьян», «при равнодушии крестьян гибель восстания была неминуема». Прекрасно понимая это, его организаторы попытались напрямую обратиться к простому народу, в том числе и говорившему не на польском языке. По большому счету, обращения «не оказали своего действия», в том числе и «на белорусов, даже католиков».

Дошедшие до нас произведения польской повстанческой литературы, адресованные крестьянству, – прекрасный материал для изучения многих аспектов общественной жизни тех лет, в том числе и социально-культурной и литературно-языковой границы, разделявшей активную часть восставших и абсолютно преобладавшее мирное население. Граница эта хорошо заметна, очень своеобразно ее отображают и такие литературные пассажи:

«Niechaj Polszcza budzie znowa!
Bo jak stanem Polakami,
Budziem rounyje z Panami!»

Современник восстания 1863 г. Бодуэн де Куртене позднее хорошо разглядел эту многовековую границу и весьма резко и иронично отозвался о подобных замысловатых агитационных нелепостях на примере своего «уника», озаглавленного «Крыўда і Праўда».

Мария Лескинен
(Москва)

**«Женщина – ваша тень ...»:
гендерные разновидности «этнического Другого»
в народоописаниях славян**

Универсальной чертой европейских народоописаний можно считать фиксацию наблюдателями особенностей внешнего облика и «нрава» женщин. Методы и формы этой фиксации, рассматривающиеся в позитивистском поле – как «объективно-научная» картина реально существующих общностей, – были обусловлены размышлениями о типичных чертах характеризваемого народа. В 1870–80-х гг. появляется новое обоснование этнографического интереса к физическому облику женщин: антропологи в поисках методов выявления этнического и «расового» типов выдвинули предположение о том, что именно женщина воплощает и сохраняет в себе в течение более длительного времени характерные признаки расы, т. е. физические параметры этноса.

Авторами и составителями этнографических научных очерков за редким исключением были мужчины, поэтому они, стремясь выявить типичные черты этнической «физиономии», оперировали оценочными определениями, такими как, например, красивая / некрасивая, обаятельная / необаятельная, страстная / холодная, высоконравственная / легкомысленная и др. При этом они редко стремились детально объяснить конкретное содержание используемых определений. Современный анализ содержания, лексики и контекста этих высказываний дает возможность реконструировать особенности восприятия и трактовки женской красоты и темперамента, определить их соотношение с чертами этнического «нрава», а также обозначить встроенность гендерных характеристик в ракурс видения и восприятия Другого.

Источниками являются этнографические описания славянских народов XVII–XVIII вв., но главным образом анализируются этнографические тексты российских наблюдателей второй половины XIX столетия. В центре внимания – вербальные изображения славянских народов: великорусов и малорусов, сербов и поляков с точки зрения гендерных вариантов этничности.

Во второй половине XIX века в этнографической науке, находящейся на стадии формирования, шли споры о том, какую

социальную, региональную, возрастную и т. п. группу рассматривать в качестве наиболее репрезентативной с точки зрения воплощения комплекса черт этнического типа (его внешнего облика, лингвистических особенностей, конфессио-нальной принадлежности, характера (нрава) и др.). Наибольшей популярностью пользовалась теория о том, что только крестьянство является носителем архаических признаков антропологического своеобразия и этнической культуры в целом. Поэтому, описывая характерных представительниц различных народов, наблюдатели расценивали в качестве женской ипостаси этнического типа прежде всего крестьянок.

Наиболее противоречивыми можно считать описания польских женщин, что было вызвано «конфликтом» прежнего, укоренившегося в традиционной русской культуре под влиянием польских автохарактеристик, образа поляка как шляхтича, и новой концепцией этничности. Польский этнический стереотип воплощался во второй половине столетия в двух социальных вариантах. Следовательно, бытовавшие характеристики «прекрасной, гордой и коварной польки», относившиеся к представительницам знати, не могли быть корректно использованы для оценок нрава и внешности «этнически типичной» польки – тем более, что не был решен окончательно вопрос о соотношении регионального и национального «племенных типов».

Характеристики красоты и нрава славянских женщин в научных народоописаниях демонстрируют хорошо изученные на основе других источников особенности «мужского» письма: они, как и этнографические тексты в целом, балансируют на грани жанров, включают в себя элементы туристического справочника (общие сведения о достопримечательностях), этнографического комментария (экзотизмы и «обыкновения» Других), а также оценочные суждения носителей Знания и Культуры в целом (с позиций которых осуществляется сравнение «своих» и «чужих» гендерных типов). Отличительные женские свойства призваны не только маркировать область различия, комплекс этнодифференцирующих признаков, но и служить дополнительным аргументом, подтверждающим или опровергающим «нравственные качества» других народов, оцениваемых по шкале универсальных добродетелей.

Ольга Лешкова
(Москва)

**«Век нынешний» и «век минувший»
польского языка
в современной
польской лексикографии**

Рубеж 80-х – 90-х годов XX века стал для польской лексикографии поистине переломным моментом. Радикальные политические, экономические и социальные перемены, произошедшие в этот период в Польше, существенным образом отразились и в сфере, связанной с составлением и изданием словарей польского языка. Процесс этот имел как количественные, так и качественные проявления. Очевидным фактом было резкое увеличение количества издаваемых словарей, разнообразие наименований (список словарей разного типа, изданных после 1990 г., включает более 80 наименований), что свидетельствовало о расширении аспектов лексикографического описания польского языка. Предшествующий период развития польской лексикографии характеризовался преимущественно нормативным и избирательным подходом к представляемой в словаре лексике, и вне лексикографической обработки оказались широкие пласты субстандартной лексики (разговорной, региональной, диалектной, профессиональной, стилистически сниженной и под.). На восполнение этих лексикографических лакун и была направлена в первую очередь деятельность польских лексикографов в последнее десятилетие XX века и первые годы XXI века, результатом чего стало издание целой серии новых словарей: разговорного польского языка, языка различных социальных групп, жаргонизмов, языка отдельных авторов, эвфемизмов, архаизмов, неологизмов и пр.

Здесь я бы хотела остановиться на двух словарях, вышедших из печати практически одновременно и фиксирующих языковой материал, относящийся к противоположным точкам временной оси. Речь пойдет о словаре, в котором собраны слова, полностью вышедшие из употребления, иначе – канувшие в прошлое («Mały słownik zaginionej polszczyzny» ¹⁾), и словаре, представляющем слова, только появляющиеся в языке, образно говоря – новорожденные («Wypasiony słownik najmłod-

szej polszczyzny», «Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny»²⁾. Сопоставление этих публикаций дает богатый материал для осознания и наглядного представления базовых тенденций развития словарного состава языка и взаимодействия механизмов отмирания и рождения лексем.

Несмотря на хронологическую полярность объектов описания, они имеют много общего – не относятся к общеупотребительной лексике, а их понимание, идентификация, освоение (не только для преподавателей и изучающих польский язык, но и для носителей языка), а затем и перевод, поиск адекватных межъязыковых эквивалентов представляют непростую лингвистическую и дидактическую проблему. Оба типа словарей, хотя и – как отмечают их авторы – являются по сути одноязычными словарями, оказываются в то же время в силу специфики представленного материала словарями переводного типа, только перевод здесь осуществляется не на иностранный язык, а на тот же польский, но общеупотребительный, понятный среднему носителю языка.

Словари отличаются формой подачи материала: первый – словарь академического типа, реализующий принципы научной лексикографии, опирается на существующие исторические словари, имеет четкие критерии отбора описываемых элементов; второй – словарь свободного типа, представляющий собой совокупность коротких заметок, размышлений, эссе, посвященных тому или иному слову, которое автор счел интересным, достойным внимания. Отбор описанных слов здесь чисто субъективный, источники материала – самые разнообразные, в первую очередь интернет-блоги, чаты, посты, то есть то, где можно найти материал для изучения спонтанного, живого, «необузданного» молодежного словоупотребления в современном польском языке. Однако и здесь у этих словарей есть общее – они создают образ определенной эпохи, ее культуры, отраженной в языке. И если первый словарь можно уподобить собранию археологических находок, которые впитали культуру минувших веков, то второй словарь скорее представляет собой путеводитель по миру современной молодежной культуры – чтобы представить какое-либо слово, автор знакомит нас с наиболее актуальными событиями, «трендами» в современной культуре, спорте, моде, особое место при этом уделено языку

рекламы, а также компьютерному сленгу. В названии словаря (его двух выпусков) присутствует определение «najmłodsza polszczyzna». Следует учесть многозначность и неоднозначность этого словосочетания; оно включает такие смыслы, как «новый», «современный», «свежий», «молодой», «молодежный» по отношению к словам и, шире, языковым явлениям. При этом важно, что «новый» – это не всегда только что появившийся (в языке трудно установить точный возраст слова – ему может быть и 5, и 10, а то и 20 лет, а тем не менее оно может сохранять новизну), «современный» – не только хронологическое определение, но и культурно-ментальное, указывающее на соответствие духу времени. Определение «свежее слово» опять же говорит не только о физической новизне, но в первую очередь о его стилистической отмеченности, особой функционально-стилистической нагрузке. И все же «новый», «свежий», «современный» неразрывно связаны с категорией «молодости», то есть в словаре преобладает лексика молодежная, употребляемая представителями молодого поколения и часто в его среде рожденная. Многие описанные в словаре лексемы являются ярким свидетельством огромной изобретательности и языковой креативности его носителей (см. такие лексемы, как *bekowy*, *debeściak*, *cichobiegi*, *guglanie*, неосемантизмы *kabat*, *malinowo*, *gargamel*, *mamut* и под.). В словаре приводится масса синонимов разной степени «свежести» (*baledra*, *obciach*, *przupał*, *padaka*, *upadek*), кроме того достаточно подробно описываются «приключения» слов – их «путешествия» по функционально-стилистическим разновидностям языка: из тюремного жаргона или профессионалекта в молодежный сленг, затем в язык массовой культуры, а оттуда открывается путь в словари, настоящие филологические.

Более конкретное знакомство со словарями обоих словарей и их сопоставление выявляет еще ряд общих черт. Так, например, в обоих словарях значительная часть словаря представлена заимствованиями, то есть инородные элементы и уходят из языка массово (в первую очередь, германизмы, богемизмы, рутенизмы, тюркизмы, отчасти галлицизмы), но и составляют значительную часть новой лексики (в данном случае англицизмы; они же становятся сырьем и катализатором многих процессов языкового творчества). В словаре «ушедших» слов мы

находим богатейший материал, свидетельствующий о былой продуктивности многих словообразовательных моделей (напр., такие слова, как *bezmartwy*, *bezmilość* или же сложные существительные с первым элементом *darmo-*: *darmochod*, *darmochwał*, *darmorych*, *darmopłoch*, а не только сохранившееся до настоящего времени *darmozjad*; у сохранившегося в современном языке слова *ojcowizna* существовали и аналогичные образований от наименований других родственников: *babczyzna*, *bratowizna*), наличие многих ныне отсутствующих членов словообразовательных гнезд (*ćwiczyciel* «mentor», *ćwiczeństwo* «panowanie nad sobą», *ćwiczny* «pojętny»; *chłopini*, *chłopowna* от *chłop*); есть примеры, демонстрирующие причудливость конкретного словообразовательного оформления наименований одних и тех же реалий (напр., ушедшее «brodogoń» и сохранившееся «golibroda» как наименования цирюльника, брадобрея). Несомненный интерес представляют слова, которые по своему строению совпадают с продуктивными словообразовательными типами современного языка и вполне могли бы восприниматься как современные неологизмы (*afryk* «południowy wiatr», *absolut* «despota», *babożeń* «maż starej kobiety», *brutka* «narzeczona», *ciasnoszka* «koszulka», *akwista* «ten, co pije dużo wody»). Сопоставление материала словаря «ушедших» слов с современным языком и словарем «новейшей» лексики дает много примеров удивительных путей семантического развития слов, в результате чего можно говорить о существовании хронологических омонимов (напр., *badacz* «wróżbita», *aktorstwo* «powództwo»). О преемственности процессов лексического обновления языка наглядно может свидетельствовать наличие одних и тех же лексем в обоих словарях (так, например, *aksuja* в значении «судебный процесс» из языка ушла, зато среди новейших явлений отмечено появление слова *aksja* в значении «ситуация, событие, происшествие», или в дефиниции словаря хип-хопа «to robienie czegoś zakreconego na maksa»).

¹ Mały słownik zaginionej polszczyzny / Red.naukowy F. Wysocka. Opracowali E. Deptuchowa, M. Frodyma, L. Szelachowska-Winiarzowa, F. Wysocka. Kraków, 2003.

² *Chaciński B.* Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków, 2003; *Wyczasyński B.* Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków, 2005.

Леонид Мальцев
(Калининград)

Творчество С. Жеромского в имагологическом аспекте польско-русских отношений

Феномен Стефана Жеромского невозможно понять без России и русской культуры, его литературное наследие представляет своего рода энциклопедию русских литературных влияний. Впрочем «русскость» сквозь призму польского литературного сознания отличалась в XIX и XX веке крайней противоречивостью, отразив историю польско-русских антагонизмов. Эта амбивалентность была признаком предельного неравнодушия Жеромского, крайней остроты «русского вопроса» в сознании польского писателя и его соотечественников.

Плодотворность такого подхода сейчас стала очевидна в связи с актуальностью имагологических исследований в русле сравнительного литературоведения. В.А. Хорев ввел в научный обиход современной полонистики термин «имагология», предложив расширить круг исследований русско-польских литературных и общекультурных связей. Описание «образов «другого» в текстах культуры» является, по мнению ученого, «важной научной проблемой». «Очевидна, – пишет В.А. Хорев, – актуальность такого похода в нынешнем мире, стремительно объединяемом современными технологиями и столь же мощно разъединяемом искаженными представлениями народов друг о друге»¹.

На наш взгляд, Жеромский – это один из самых актуальных классиков польской литературы с современной «имагологической» точки зрения. Русские культурные традиции были восприняты будущим писателем в рамках обязательной школьной программы: великая русская культура, хотя и воспринималась Жеромским и его соотечественниками как достояние одной из стран-поработительниц, серьезно обогатила духовно-творческий багаж писателя. Перефразируя В.А. Хорева, можно констатировать: еще в юности Жеромский постигал русскую ментальность «через сферу прочувствованной мысли» нашей литературы.

Вопрос о «русском» Жеромском в польской и русской критике имеет достаточно богатую историю изучения. Среди

новейших польских исследований показательна работа Р. Хандке, выходящая за рамки узколитературной проблематики, выясняющая круг вопросов, связанных с отношением Жеромского к России и русским. По справедливому мнению автора, причиной закрепления негативных стереотипов России был «травматический национальный опыт», все еще «близкая и живая трагедия Январского восстания», последующий период русификации «Привислинского края» и связанный с этим «московский комплекс» Жеромского ². Но, согласно не менее справедливому представлению того же исследователя, русская тема в творчестве Жеромского имеет обратную сторону: «...художественная сила произведений русской литературы оказывает влияние на молодежь, посредством навязанного им языка она познает... сокровищницу человеческих знаний и духа в мировом масштабе...» ³. Р. Хандке акцентирует одну из самых перспективных тем в творчестве писателя – тему польско-русской любви, абсолютно верно называя ее «фактором преодоления барьеров между поляками и “москалями”» и «сюжетно привлекательной сферой вовлечения героев в проблему польско-русских отношений» ⁴.

«Русская» тема занимает важное место в творчестве Жеромского. В ряде произведений («Братская могила», «Сизифов труд», «Верная река», «Краса жизни», «Pavoncello») писатель создал художественно значительные образы русских людей. Жеромский первым в польской литературе (сборник рассказов «Расклетывает нас воронье») поднял тему-табу – тему Январского восстания 1863 года – кровоточащей раны польского патриотического сознания, затронув болезненные проблемы польско-русских отношений. В романе «Канун весны» и публицистическом очерке «Снобизм и прогресс» Жеромский выразил сложное, до сих пор являющееся предметом литературоведческих дискуссий, отношение к Октябрьской революции в России, оказавшей громадное влияние на судьбы всего мира, в том числе Польши.

Образы «другого» у Стефана Жеромского находятся в сложном взаимодействии – в притяжениях и отталкиваниях – с польскими стереотипами восприятия России, в формировании которого немалую роль сыграла художественная литература. С одной стороны, в сознании Жеромского, как наследника тра-

диций польского романтизма («Отрывок» третьей части «Дзядов» Мицкевича), присутствует образ России как враждебной силы. С другой стороны, русская литература была «пропущена» Жеромским через внутренний мир и предстала перед читателями уже в национальной интерпретации. Польский стереотип отношения к России даже породил стереотип восприятия Жеромского как «русифицированного» писателя, представление о «разрушительном, разлагающем влиянии русской литературы» на творческое самосознание писателя⁵, что не соответствовало действительности по двум причинам: во-первых, влияние русской литературы на сознание зарубежного писателя не могло быть «разрушительным», тем более «разлагающим», учитывая колоссальный нравственный потенциал отечественной словесности, признанный во всем мире, а во-вторых, традиции русской литературы, как мы увидим, не привели Жеромского к потере «польскости», наоборот, осознание значительных литературных достижений соседней славянской страны послужило стимулом укрепления в творчестве Жеромского идеи польского литературного «суверенитета».

¹ Хорев В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические очерки. М., 2005. С. 12–13.

² Handke R. Stefan Żeromski i Moskale // Światy Stefana Żeromskiego. Warszawa, 2005. S. 287, 290. Перевод А.М.

³ Ibidem. S. 292.

⁴ Ibidem. S. 294.

⁵ См. Sokolnicki M. Czternaście lat. Warszawa, 1936. S. 341. Цит по: Bumm В.В. Стефан Жеромский. М., 1961. С. 192.

**О чем молчала Ивонна?
(Драма Витольда Гомбровича
«Ивонна, принцесса Бургунда»)**

Витольд Гомбрович слывет трудным автором. Интерпретация его текстов – головоломная задача, своего рода вызов исследователю. Ниже представлена попытка дешифровки одного из этих текстов с помощью процедуры пристального чтения.

**Название драмы. Отражение в ней
особенностей творчества писателя**

Проанализируем название драмы «Iwona, księżniczka Burgunda», которое следует перевести на русский язык как «Ивонна, принцесса Бургонская»¹ или, оставаясь ближе к оригинальному звучанию, – «Ивонна, принцесса Бургунда» (создавалась в 1934–1935 гг., опубликована в 1938 г.). Подчеркнутый интерес к названию в данном случае вполне оправдан – общеизвестно, что в произведениях этого автора «остраненные» заглавия играют особую роль. И в этой драме оно кажется не вполне внятным, однако идеально соответствует характеру Гомбровича-писателя. Читатель, конечно же, смущен словом «Бургунд» – еще не открыв текст, он уже встречается с «темным местом», уже вопрошает автора, о какой стране тот толкует. Но Гомбровичу только того и надо, ведь он всегда «планирует» свои произведения как игровые, провокационные, диалогические. Очевидно, что в названии заложена также свойственная творчеству этого автора пародийность. Кроме того, читателю предстоит обнаружить, что в названии скрыта апория (наряду с парадоксом, это излюбленный прием Гомбровича), ибо заглавная героиня – вовсе не принцесса. Но еще важнее, что в названии пьесы закодирована и главная в творчестве Гомбровича экзистенциальная идея: Я и Другой, Межчеловеческое. Последняя принимает весьма оригинальный вид, ибо для ее выражения автор создает собственную терминологию – непривычную, шокирующую.

Параллельность создания «Ивонны» и «Фердыдурке»

Для наших рассуждений значимым является факт, что «Ивонна» – первая драма Гомбровича – создавалась одновременно с его самым известным произведением – повестью «Фердыдурке» (опубликована в 1937, на титуле значился 1938 г.), где обрела имя пара его основных понятий: Форма и Незрелость. С известной долей упрощения, Форма – это лишенное естественности, навязанное культурой представление человека о самом себе и образ, в котором он предстает перед другими; Незрелость, напротив, есть подлинная, свободная человеческая материя, сама по себе, вне отражения в Другом. И хотя в «Ивонне», в отличие от «Фердыдурке», эти категории не выражены *expressis verbis*, они в ней «слышны» – их несет та же идейная конструкция, на которой зиждется здание «Фердыдурке».

Бургунд и Бургундия. Универсальность и

культурно-историческая аллюзия. Форма

Фигурирующий в заглавии Бургунд (Burgund) неизбежно ассоциируется с Бургундией (польск. – Burgundia), страной, в истории которой заключена едва ли не вся вертикаль европейской цивилизации, и, что также важно, символизирующей апогей европейской искушенности (этикет, роскошь, мода, гурманство). Вместе с тем автор избегает точной локализации – «Бургунд», где *разыгрываются* события, – скорее, аллегория, модель некой страны. Это – явное свидетельство того, что речь в драме пойдет об универсальных проблемах. В этом контексте выбор Гомбровича следует признать безупречным – в истории (во всяком случае, европейской) вряд ли найдется другой, столь же классический – как бургундский – пример доведенной до совершенства (или абсурда – в зависимости от точки зрения) Формы, или, согласно параллельной терминологии Гомбровича, Зрелости, то есть заката свободы и максимальной удаленности от естественности. Такая профанация подлинных *ценностей* передана в драме *обесцененным* словом, которое является главным, если не единственным – в отсутствие психологических и развернутых социальных реквизитов – средством характеристики

персонажей: короля, членов его семейства, его свиты и всех прочих действующих лиц, чья деградированная речь никогда не превращается в аутентичный диалог. Им явно не хватает того Слова, которое делает Человека Человеком.

Ивонна. Форма. Бес-Форменность.

Незрелость. Зелень

«Недоречь» персонажей натывается на молчание заглавной героини. Отношения Ивонны и персонажей, которые воплощают Форму, исполнены драматизма: против нее готовится заговор. Простая девушка Ивонна, объявленная невестой королевского наследника, уродлива, не может освоиться с дворцовым этикетом, безмолвна – при дворе ей нет места. Но его нет, прежде всего, потому что она – недоо-Форм-лена, бес-Форменна. Имя Ивонны, стоящее в заголовке рядом с другим иносказательным именем собственным – Бургунд (Форма), – безусловно – говорящее. Французское имя героини происходит от древнегерманского *Iv*, что значит тис – *вечно-зеленое* дерево, *зеленица*. Следовательно Ивонна – это Незрелость или – иначе – Зелень. (Гомбрович имел обыкновение расширять свой необычный терминологический словарь за счет сходных по значению слов).

Форма и Незрелость – замкнутый круг

По сюжету король и его свита организуют трагическую и «смешную» смерть Ивонны – она погибает, подавившись рыбной костью на пиршестве, устроенном в ее честь. Но убийство здесь – не моральный, а экзистенциальный акт – суть Межчеловеческого: Форма постоянно поглощает Незрелость, а Незрелость обновляет Форму. И нет в их нерасторжимой связи, в их взаимозависимости ни начала ни конца. Молчаливая Ивонна это прекрасно понимает. Нарушая молчание, она обреченно повторяет: «Ходят и ходят по кругу»... Заметим, круг – это и пространственная фигура (символ замкнутости) и фигура времени (цикл). Трудно представить себе более простой и более убедительный «релятивистский» образ, в котором все субъекты и объекты всегда и везде определяются отношением друг к другу. Идея круга, кольца мастерски реализована писателем на всех уровнях произведения (от сюжета до построения фразы и даже жестикуюля-

ции) – его архитектоника идеально адекватна его главной мысли. Следуя духу Гомбровича, можно сказать, что идея круга расходится в драме концентрическими кругами. По той же причине она едва ли не гипнотически воздействует на читателя, у которого от этой «круговерти» начинает «кружиться» голова. Собственно, все произведение и есть притча о круге. Философская притча, какую обычно пишут со всей серьезностью и «для бумаги», и которую Гомбрович разыгрывает почти как анекдот – на сцене.

Выводы

При подобном прочтении пресловутое загадочное название драмы оказывается ключом к ее разгадке – и как весьма сложного философского экзерсиса и как легкого, ветром подбитого образца литературно-театральной игры. Такое прочтение убеждает: в первой драме Гомбровича есть элементы искусно зашифрованные, но в ней нет элементов случайных – и никакой бессмыслицы. В дальнейшем сложившаяся в первое десятилетие творчества метафизика Гомбровича становилась все более разработанной и разветвленной, иногда – более противоречивой, иногда – более прозрачной. Идею Межчеловеческого писатель оставался верен до самого конца – до последней записи в «Дневнике».

¹ Burgund – по-польски бургонское [вино].

Виктория Мочалова
(Москва)

Польский Гораций в московской тюрьме

*Счастье заключает в себе все блага.
Себастьян Петриций*

Среди множества поляков, оказавшихся в Московском государстве в период Смуты, встречались и весьма неожиданные личности, как, например, Себастьян Петриций (1554–1626), философ, выпускник Краковской Академии, преподаватель поэтики и риторики, переводчик и комментатор Аристотеля, а также автор ряда трудов из области медицины¹, врач с дипломом Падуанского университета (1590), услугами которого пользовались представители польской элиты – кардинал Бернат Мачеёвский и родственное ему семейство Мнишек.

Кажется затруднительным понять, почему, с какой целью этот философ, профессор, врач и поэт, к тому времени уже далеко не юноша, направился в 1606 г. в Москву² в свите то ли Мнишек, то ли возглавляемого Миколаем Олесницким и Александром Корвином Госевским польского посольства, имевшего представлять королевскую особу на свадьбе Марины Мнишек и Лжедмитрия I. Однако объяснение этого странного поступка можно найти в его собственных текстах, написанных уже после кровавой развязки того акта исторической драмы, в котором он оказался замешан.

В московском заключении, где после убийства Лжедмитрия I и нескольких сотен поляков, Петриций вместе со своими товарищами провёл полтора года (1606–1607), он занимается переводами-парафразами од Горация – «Гораций Флакк в тяготах московской тюрьмы»³ (первый на польском языке наиболее полный перевод четырёх книг од, ибо Кохановский, создавая ранее свои переводы и парафразы Горация, не ставил перед собой такой задачи), которые издаёт уже по возвращении в Краков. (Ст. Кобежицкий ссылается на Петриция⁴ и как на автора «Московской истории»⁵, но новейшие библиографии упоминают его авторство как сомнительное).

В посвящении своего труда Миколаю и Сигизмунду Мнишекам Петриций объясняет своё («слути Вашего дома») присутствие в «зосчастной Москве» необходимостью исполнять профессиональные врачебные обязанности «по соизволению» их отца, Ежи Мнишека (существует мнение, что Петриций лечил и зятя Мнишека, Ажедимитрия I). В обращении «К читателю» Петриций излагает свои мотивы ещё более прямо, хотя и не без, – как пристало философу, – этического дискурса о двойственности жизни – телесной и душевной. Обе эти стороны жизни требуют большого труда: в первом случае он необходим для пропитания, обеспечения своего благополучного существования, во втором – для совершения добра людям, ибо поистине живёт лишь тот, кто своими добрыми поступками оставляет по себе благу память. Некоторые люди, унаследовавшие (в отличие от автора) состояние своих предков, тем самым уже обладают «сосудом» – источником, основой для добрых поступков, т. е. душевной жизни. «За этим сосудом поехал я в Москву, где, желая обрести некую основу для второй [стороны] жизни, больше потерял»⁶.

Однако философ и поэт в тягостных обстоятельствах своей судьбы не утратил главного («не перестал жить душевной жизнью»), не отступил от своих представлений об идеальном *vir bonus* (среди добродетелей которого мужество и благородство, воздержанность и щедрость, достоинство и честь, человечность и *pemesis*, но также и способность ценить счастье), и не забыл уроков Горация («победа над человеческим несчастьем – в мудрости»).

Петриций уже в обширном заглавии своего поэтического труда отмечает, что он создавался «для утоления печали», возникал в результате не столько предварительно сложившегося замысла, сколько от «тоски неволи». Таков экзистенциальный жест поэта-заключённого – обратиться к вечным ценностям, превосходящим несчастья брэнной жизни, и тем самым их преодолеть. Вместе с тем, поэт, как бы возносясь на горацянские поэтические вершины, никоим образом не пренебрегает современной исторической реальностью, не покидает круга непосредственно происходящих событий и близких ему лиц.

Напротив, вольность «переводческой» стратегии Петриция следует признать весьма радикальной, хотя относительно господствовавших в литературе его времени норм она не выглядит исключением. В его переработках оды Горация «полонизируются» – отнюдь не только в языковом аспекте: они помещаются в контекст современных событий в Речи Посполитой (войны, рокоши), переполняются реальными историческими лицами, потеснившими античных персонажей Горация (например, Лоллий, чью славу и подвиги не дадут погреть забвенью его стихи, заменяется у Петриция Зебжидовским, IV:9), – польскими королями (Казимир Великий, Ягелло, Ядвига, Стефан Баторий, Сигизмунд III, Владислав IV и др.), военачальниками (Жулкевский, Ходкевич, Лев Сапега, Александр Корвин Госевский), духовными лицами (кардинал Мачеёвский), шляхтичами, товарищами по несчастью (Ежи и Марина Мнишек, Миколай Олесницкий, Каспар Мачеёвский, Миколай Коморовский, Пётр Борковский, Павел Пальчовский, Гжегож Бродовский и др.), мифическими персонажами (Лех), а также польскими топонимами (Краков, Вавель, Висла и др.). Если это и Гораций, то – преимущественно «польский», намеренно переписанный на польский лад, переодетый в польское платье, дышащий польским духом, переложённый на язык польской поэзии (например, здесь присутствуют рифмы, отсутствующие в оригинале), а не просто переведённый на польский язык. Сам Петриций предваряет книгу соответствующим уведомлением: «Вот изложение Горация, его порядку я следую всегда, а словам и содержанию – не всегда», призывая самого читателя сравнивать «то содержание с нашим, латинское с польским» и признаваясь, что в стремлении привлечь его, «удержать при чтении», он умышленно «превращал чужое в своё». При этом представляется существенным, что и это «своё» обретает здесь иное измерение, очевидную «нобилитацию», будучи переложённым на коды античной культуры.

Не менее значимой, чем польская, хотя и в совершенно ином освещении, становится и «московская» тема, прямо заявленная и в самом заглавии, и в предваряющей авторской характеристике – «омосковлённый Гораций», и в названии уже второй оды (первая, разумеется, посвящена

кардиналу Мачеёвскому – вместо горацевского Мецената) из книги I (тоже вопреки Горацию, у которого есть лишь номер оды, называемой по первой строке «*Jam satis terries nivis atque dirae*») – «К Москве» (“*Do Moskwy*”). Здесь сохраняется горацианская атмосфера потопа, но место Тибра занимают реки Москва и Яуза; гражданская война, вызывающая гнев римских богов, предстаёт уже польско-московской войной между «своими», братьями по крови и во Христе, призванными тупить свои сабли не друг о друга, но о турок; спаситель и мститель видится не в Августе, Меркурии, Аполлоне, но в Жулкевском и Ходкевиче. Оды Горация в переложении Петриция наполняются непосредственно наблюдаемыми им «московскими» реалиями, людьми и событиями – среди них, разумеется, и убийство Лжедмитрия I, которого поэт считает легитимным правителем, преданным изменниками, и трагедия его польских сторонников, погибших или заключённых в тюрьмы (I: XII; XXIV, XXXIV и др.), и появление «доброй вести» о Лжедмитрии II, и восстание Болотникова (I: XV), и многое другое, включая, например, ободряющие советы товарищам о правильном поведении в заточении (II: X).

Сложные и драматичные польско-московские отношения времён Смуты под пером философа и поэта, волею судеб оказавшегося их довольно случайным соучастником и наблюдателем, приобретают весьма прихотливое и многослойное отражение – сквозь призму античности, в свою очередь адаптированной польской культурой XVI–XVII веков.

¹ См.: *Sebastian Petrycy z Pilzna. Pisma wybrane*. Т. 1–2 / Opr. W. Waśnik, wstęp K. Grzybowski. Warszawa, 1956. Bibl. Klasyków Filoz. Pisarzy Pol. См. рус. пер. А.П. Ермилова фрагментов его комментариев в: *Себастьян Петриций из Пильзна. Добавления к «Этике», «Экономике» и «Политике» Аристотеля // Польские мыслители эпохи Возрождения / Подбор, ред. и примеч. И.С. Нарского. М., 1960. С. 228–267. См. также: Николаев С.И. Польско-русские литературные связи XVI–XVIII вв. Библиографические материалы. СПб., 2008. С. 83–84.*

² См.: *Czerska D. Dymitr Samozwaniec*. Wrocław; Warszawa; Kraków, 2004. Wyd. 2. S. 153.

- ³ *Sebastian Petrycy z Pilzna*. Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego na utulenie żalów, przez Doktora Sebastiana Petricego Medyka, nie tak namyślnie, iak w niewoley tęskliwie w Lyrickich pieśniach zawarty, na ten czas, gdy boiarowie Dimitra Cara pana swego przysięga posłuszeństwa ubezpieczonego, przez cicho zaprzysięgłą zradę haniebnie zamordowali: Carowey Iey Mości Koronatią y państwo poprzysięgle znieważyli: wiele Panów Polaków na wesele wezwanych, nad wszelką słusność, w tym zamieszku, iednych pozabiiiali, drugich i samych Ich Mościów Panów Posłów do trzech niemal lat w więzieniu zatrzymali. Kraków, 1609. Из нескольких позднейших изданий мы пользовались следующим: *Sebastian Petrycy z Pilzna*. Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego / Opr. A. Trojak. Kraków, 2004.
- ⁴ *Kobierzycki St.* Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego (1655) / Wyd. J. Byliński i Wł. Kaczorowski. Tłum. M. Krajewski. Wrocław, 2005. S. 40.
- ⁵ *Sebastian Petrycy z Pilzna*. Historia Moschovitica. Kraków, 1641.
- ⁶ *Sebastian Petrycy z Pilzna*. Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego. S. 11.

Светлана Мусиенко
(Гродно)

Польская литература XX века в интерпретации В.А. Хорева

Писать о литературе XX века – задача не из легких, поскольку эта литература еще не стала историей и многие ее процессы, проблемы, явления продолжают свое развитие и сегодня – на заре XXI столетия.

Литературоведческое творчество профессора В.А. Хорева связано именно с этим периодом и насчитывает около 400 трудов, посвященных истории польской литературы. В центре внимания В.А. Хорева прежде всего литературный процесс XX века в его целостности, со всеми сложностями, противоречиями, именами виднейших представителей, фактами и документами, впервые введенными в научный обиход автором.

Из столь значительной панорамы исследований остановлюсь на недавно вышедшем научном труде ученого «История польской литературы XX века. 1890–1990» Москва, 2009 год.

Главную задачу книги определил сам автор: «...литература – это всегда громадное количество разноуровневых в художественном смысле текстов и множество имен, перед которыми оказывается растерянный читатель. Помочь ему выбрать из них наиболее значительные и репрезентативные, руководствуясь определенными принципами – одна из задач книги» (с. 8).

В.А. Хорев подчеркивает направленность книги русскому читателю, сознание которого отягощено «стереотипным суждением, часто имеющим негативную окраску». Подчеркну, что книга написана человеком, имеющим не только колоссальные знания польской истории, культуры, литературы, хорошо понимающим особенности развития польского общества и проникшим в глубины психологии национального (польского) типажа, но и обладающим душевной деликатностью, чувством меры, национальным достоинством, так необходимым при исследовании культуры другого народа.

Анализ литературно-исторического процесса в книге представлен во временной последовательности, что дало возможность показать «вовлеченность» в литературу и влияние на нее важнейших исторических событий как мировой (ми-

ровые войны, революции, научно-технические открытия), так и национальной значимости (обретение страной национальной независимости, смена социально-политических укладов). Это позволило показать своеобразие их воплощения в различных видах и жанрах литературы.

В.А. Хорев использует в оценках литературного процесса имагологический подход, назову это наукой об образной системе другого народа. Но при этом не боится «ломать» устойчивые стереотипы, по-новому оценивать многие литературные явления, творчество ряда писателей, переосмысливать факты, события и т. д. В книге представлен богатый фактический материал в индивидуальном переосмыслении автора, сумевшего охватить его единством концепции и расположить в строгой логической последовательности.

Литература Польши XX века рассмотрена в контексте мировой культуры, в соотнесении ее с наиболее важными эстетическими явлениями и процессами, происходящими в других национальных литературах: периодизация, типология, сравнительные характеристики творчества писателей, жанровые модификации, художественные особенности и т. д.

В книге упоминается более 400 имен деятелей польской и мировой культуры, сотни художественных произведений и литературно-критических работ, учитывается факт представления и восприятия польской литературы другими народами, владеющими русским языком, а значит имеющими «иное» восприятие национально-художественного процесса другого народа.

Татьяна Николаева

(Москва)

Кирибеевич, кто ты такой?

В 30-е годы XIX века влияние Бальзака на русскую культуру было огромным. В частности, в его романах фигурирует властолюбивая группа из 13 «le treize», которые хотят овладеть миром. По этому образцу была создана из высшего круга русских аристократов группа «шестнадцать» («le seize»), в которую входили братья Столыпина и примыкал быстро приобретающий влияние Лермонтов. Несколько человек из этих шестнадцати (возможно, и Дантес) были любовниками императрицы Александры Федоровны. Первая часть стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» вполне устраивала царя. Но нечто, рассказанное Лермонтову его кузеном Н. Столыпинам, заставило его написать последние шестнадцать строк: «А вы, надменные потомки...», где также предполагается, что пасквиль написан одним из шестнадцати и выражение «стоящие у трона» могло относиться и к царице. Поняв намек, царь сослал поэта на Кавказ. Летом 1837 г. Лермонтов пишет там поэму про трех лиц: царя Ивана Васильевича, молодого опричника и купца Калашникова. Долгое время литературоведы, в том числе даже Б.М. Эйхенбаум, считали, что эта поэма создана под влиянием фольклора. Между тем тщательный анализ текста в сопоставлении со сведениями о последнем годе жизни Пушкина показывает, что в поэме практически полностью описаны отношения Пушкиных с Дантесом и поведение царя, а также дуэль Пушкина.

Итак, красивый иностранец, служащий в войске («опричнине») царя, преследующий замужнюю красавицу – это Дантес/Кирибеевич.

Борис Носов
(Москва)

Сейм Королевства Польского 1818–1830 гг., его социальная природа и роль в государственном устройстве

В отличие от полновластного сейма эпохи шляхетской Речи Посполитой сейм Конгрессового Королевства Польского даже формально (согласно конституции 1815 г.) был низведен до уровня «народного представительства», а на практике лишен каких-либо реальных полномочий. Однако он сохранил высокий авторитет в польском обществе, о чем свидетельствует его история в период конституционного Королевства Польского и, в особенности, в период восстания 1830–1831 гг.

Первые выборы в сейм Королевства Польского состоялись в 1817/18 гг., последние – в 1830 г., за этот период выборы проводились, в соответствии с конституцией, каждые два года – всего семь раз, охватывая треть сеймиков и гминных собраний. Соответственно на треть переизбирался состав Посольской избы. Первоначально, до времени кристаллизации оппозиции в сейме, интерес к выборам был невелик. Активность избирателей наблюдалась преимущественно в среде шляхты. Это объяснялось шляхетским характером сейма, традициями шляхетской политической культуры и осознанием избирателей, не принадлежащих к дворянству, что их голосование не имеет существенного значения.

Несмотря на установленные конституцией периодичность выборов и порядок созыва сейма, очередные сессии которого должны были проходить раз в два года, царь имел право сам устанавливать и объявлять время созыва сейма. В результате за всю историю сейма Королевства Польского он созывался только четыре раза: в 1818, 1820, 1825 и в 1830 годах. Причем конституционные сроки созыва сейма были соблюдены только однажды. Трижды созывал сейм Александр I, и один раз – Николай I.

Политических и партийных фракций в нынешнем значении этого понятия в сейме Королевства Польского не было, однако условно членов палат можно разделить на сторонников правительства и оппозицию, а также на клерика-

лов и на послов и депутатов без определенной политической ориентации. Количественно определить соотношение представителей в сейме разных политических направлений весьма затруднительно, ибо сами они отнюдь не всегда осознавали и ясно заявляли о своих политических симпатиях, а имеющиеся свидетельства, оценки и мнения достаточно субъективны и не всегда убедительны. Поэтому, имея в виду условность и приблизительность подобных подсчетов, можно полагать, что явных сторонников правительства в сейме было немного (на сеймах 1818 и 1820 гг. не более 20%). Клерикальный лагерь проявлял себя в отдельных вопросах, например, при обсуждении законодательства о браке клерикалы выступили против разводов, считая, что это противоречит каноническому праву, а в других – они, как правило, поддерживали правительство. На сейме 1818 г. представителей клерикальных взглядов было 22 чел. (17%); на сейме 1825 г. – 10 чел. (8%); на сейме 1830 г. ни один из членов обеих палат не может быть отнесен к этому направлению. Это отнюдь не свидетельствовало об ослаблении роли католической церкви в политике и общественной жизни, а также не давало основания говорить, что в Сенате и в Посольской избе отсутствовали клерикалы по убеждению. Просто в вопросах, вокруг которых на сеймах разворачивалось политическое противоборство, размежевание политических сил приобрело уже иные очертания, а главную роль стало играть противостояние консервативного лагеря и либеральной оппозиции, поэтому послы и депутаты клерикального направления не проявили на сейме 1830 г. собственной позиции.

В сейме немало было послов, стоявших в оппозиции правительству, хотя само это понятие применительно к сеймам Королевства Польского 1818–1830 гг. носит весьма условный характер. На сейме 1818 г. выраженного политического размежевания в палатах еще не было. Послы голосовали за одни проекты и выступали против других по разным основаниям, не будучи связаны ни общим намерением поддержать правительство, ни стремлением противостоять ему. Они были лояльны царю, выражали уважение Конституционной Хартии и поддерживали государственно-правовые институты Королевства Польского. Критически настроенные

члены сейма не опирались на общие идеологические принципы и были немногочисленны. Важную роль среди них играли территориальные группы: Августовская и Галицийская. Происхождение этих групп относилось еще ко времени Княжества Варшавского и было формально связано с так называемыми старыми и новыми департаментами. В полной мере формирование основных направлений общественного движения Королевства Польского нашло отражение в группировках сейма 1820 г.

Из всех государственных институтов конституционно Королевства Польского именно в сейме политические традиции шляхетской государственности прежней Речи Посполитой проявились в наибольшей степени. Однако ни по своему составу, ни по своим функциям он не представлял народа, будучи органом сословного представительства шляхты (дворянства). Ограниченное участие в сейме представителей горожан не меняло его дворянского характера и также соответствовало тенденциям развития польской государственности второй половины XVIII в., когда еще в 1744 г. Антоний Михал Потоцкий высказался за допуск мещан к сеймованию. В дальнейшем к этой идее не раз обращались польские шляхетские политики и политические мыслители самых разных направлений. Однако все они рассчитывали использовать горожан в своих собственных интересах и в целях укрепления сословного господства шляхты. Как по поводу подобных проектов писал Ежи Михальский, «шляхта не намеревалась выпускать из рук всего комплекса государственных проблем, в том числе и вопросов сугубо городской жизни, во всем оставляя за собой решающее слово». В сейме наиболее ярко воплотился исторический компромисс между польской шляхтой, стремившейся сохранить и гарантировать свои привилегии и российской властью, защищавшей ее сословное господство. Наконец, сейм Королевства Польского воплощал баланс между абсолютистской формой правления и централизаторской политикой правительства Королевства, с одной стороны, и провозглашенным конституцией разделением властей – с другой.

Реминисценции из И. Тургенева в малой прозе Я. Ивашкевича

Начиная с 1859 г. – времени первой польской публикации «Записок охотника», И.Тургенев был и остался по сей день, одним из наиболее популярных в Польше русских писателей-реалистов. Причин такой популярности автора «Дворянского гнезда» несколько: и его высокое художественное мастерство, и широкая известность в Европе, и, главное, толерантность по отношению к «польскому вопросу», которая определила раз и навсегда место русского писателя в польской общественной среде.

Художественное наследие автора «Отцов и детей» оказало воздействие на творчество многих польских писателей. С. Жеромский, например, называл Тургенева своим любимым писателем и не скрывал, сколь важную роль сыграло знакомство с ним в формировании его собственного творчества. С. Бжозовский, определяя характер своего творческого развития, называл И. Тургенева одним из своих первых учителей. В польском и российском литературоведении отмечалось влияние Тургенева на многих польских писателей. Так, К. Заводзинский писал о близости некоторых повестей Ю.Крашевского рассказам Тургенева, М. Жмигродская проводила параллели между отдельными образами молодых бунтарей в романе Э. Ожешко «Призраки» с героями романа Тургенева «Отцы и дети». Е. Цыбенко отмечала влияние романов Тургенева «Рудин», «Накануне», «Дым» на роман Ожешко «Над Неманом». Овсяннико-Куликовский сравнивал образ тургеневской Лизы Калитиной с образом Магдалены Бжеской из романа Б. Пруса «Эмансипантки». В. Оцхели выдвинула гипотезу о творческом воздействии повести Тургенева «Вешние воды» на повесть В. Реймонта «Вампир».

Важную роль сыграл Тургенев и в формировании художественного мастерства Ярослава Ивашкевича – писателя-интеллектуала, занимающего важное место в литературе Польши XX века. Внимание Ивашкевича, прежде всего, привлекала малая проза Тургенева. Называя русского писателя «великим мастером», он отмечал «совершенство и законченность его малой прозаической формы, ее особую поэтическую атмосферу, автобиографический характер и указывал на близость ей своих рассказов».

Уже современники Ивашкевича отмечали некоторое сходство его рассказа «Конгресс во Флоренции» с повестью Тургенева «Вешние воды». Впоследствии российский литературовед М. Мальков назовет рассказ «Конгресс во Флоренции» «парафразой тургеневской повести». Конкретный сопоставительный анализ произведений польского и русского писателей, проведенный нами, дал возможность говорить не только о сходстве названных произведений, но и о значительной зависимости рассказа Ивашкевича от повести Тургенева. Это проявилось в сюжете, идейной направленности, лексике и, что главное, в особом отношении авторов к любви, определении ими философии любви.

Если в литературоведении в той или иной мере уже освещалась схожесть рассказа «Конгресс во Флоренции» с повестью «Вешние воды», то, насколько нам известно, о близости рассказа Ивашкевича «Тано» повести Тургенева «Муму» пока умалчивалось. Вместе с тем, как нам представляется, произведения эти имеют много общего. Думается, что Ивашкевич заимствовал у Тургенева принцип художественного построения центрального образа. Несмотря на разное историческое время, в котором живут герои двух произведений, разный менталитет, разную причину трагического положения, они близки друг другу. Главное назначение образа крепостного крестьянина Герасима, героя повести Тургенева – олицетворение силы и кротости русского народа, его нравственности, честности и одновременно полной бесправности и зависимости от капризов своих угнетателей. Военнопленный Хайнц, герой рассказа Ивашкевича, также выступает олицетворением целого поколения немцев военной и послевоенной эпохи, олицетворением трагизма поколения, утратившего смысл жизни, трагизма целой нации из-за деспотизма, шовинизма и мании величия нацизма.

Можно даже предположить, что Ивашкевич не скрывал своей зависимости от повести Тургенева. Введение в повествование образа собаки, особой привязанности хозяйина к ней, ее насильственной смерти, название рассказа ее именем, хотя она, в отличие от повести Тургенева, не несет в себе особой идейной нагрузки, доказывает это. Ивашкевич как бы специально повторяет повествовательную канву истории, гениально рассказанной Тургеневым и не оставившей равнодушным ни одного своего читателя, но повторяет ее на новом историческом материале, показывая тем самым еще один пример преемственности в развитии литературы.

Rosyjskie przekłady utworów Jana Parandowskiego

Droga polskiego pisarza do rosyjskiego czytelnika wiodła poprzez Tadeusza Zielińskiego, znakomitego filologa klasycznego, autora wielotomowych cykli: *Religie świata antycznego* (1921-1934) i *Świat antyczny* (1930-1938) oraz niezliczonych prac na temat związku naszej kultury duchowej z kulturą świata antycznego.

Postaci uczonego hellenisty poświęcił Parandowski szkic, zatytułowany *Tadeusz Zieliński*. To pierwszy tekst pióra polskiego pisarza, który ukazał się w języku rosyjskim, w kwietniowym numerze kiszyniowskiego «Gołosu Biessarabii» 1930 roku. Snuje w nim autor refleksje o meandryczności ludzkiego losu, który tajemniczym zrzędzeniem pozwala uwiecznić w pamięci potomnych zarówno dzieło i postać autora. Taki los przypadł w udziale Tadeuszowi Zielińskiemu. W zdobiącym transept Katedry Ormiańskiej we Lwowie słynnym malowidłem ściennym *Ukrzyżowanie* Jana Henryka Rosena, rysy uczonego można odnaleźć w pełnej godności postaci św. Piotra, dzierżącej w dłoniach rzymską bazylikę.

Dopiero po bez mała czterech dekadach na radzieckim, wówczas rynku czytelnicznym, pojawiła się międzywojenna powieść Parandowskiego *Niebo w płomieniach* («Небо в огне», 1969). Dzieło w tłumaczeniu E.M. Łysenko z przedmową G. Kocura nie wzbudziło zainteresowania krytyki. Być może wpłynęła na to skomplikowana sytuacja i uwikłanie głównego bohatera w przeżycia nie do końca zrozumiałe dla radzieckiego odbiorcy? Niewykluczone także, iż tocząca się tuż przed pierwszą wojną światową akcja powieści nie wpisywała się w nurt ówczesnych zainteresowań.

Niezależnie od wszelkich niejasności, co do stanowiska radzieckiej krytyki względem utworu, *Niebo w płomieniach* rozpoczęło stałą, ponad trzydziestoletnią, obecność dzieł tego autora w rosyjskiej przestrzeni językowej. Twory Parandowskiego wydawano nie tylko w postaci książek, publikowano je także w rosyjskojęzycznych czasopiśmie. Trafiały do wydawnictw głównie moskiewskich i leningradzkich, takich jak: «Художественная литература», «Детская литература», «Физкультура и спорт», «Молодая гвардия», «Пилигрим», «Правда», «Профиздат», «Прогресс».

Tłumaczami tekstów autora *Dysku olimpijskiego* byli: V. Akopow, Wiktor M. Borisov, Mikołaj Dubow, Gilda W. Jazykowa, A. Jermonski, Jakow Lotowski, Eugenia M. Łysenko, S.P. Popow, S. Sokołow oraz Ksenia Starosielska.

Trzykrotnie wydano *Alchemię słowa* («Алхимия слова»). Ta «encyklopedia literacka» jak nazywał ją jeden z polskich badaczy twórczości Parandowskiego, Władysław Studencki, przyniosła autorowi największe uznanie. Jej pojawienie się zostało odnotowane w liczących się wówczas pismach literackich. Znacząco brzmiały tytuły artykułów i recenzji po ukazaniu się książki: «О муках и радости творчества»¹, «Неумолимая потребность»², «Алгебра гармонии»³. Pierwsze wydanie *Alchemii słowa* (1972) ze znakomitą przedmową Siergieja Załygina i posłowiem W. Britaniszskiego, ukazało się w wydawnictwie «Прорпесс». Wydawcą drugiej edycji także był «Прорпесс» (1982) z tą różnicą, iż *Alchemię słowa* wydano łącznie z *Dyskiem olimpijskim*, zaopatrując je wstępem S. Bełzy oraz komentarzem Britaniszskiego. W ostatniej dekadzie XX wieku podobnie jak poprzednio wydano edycję łączoną. Tym razem książka o pisarstwie, jako szczególnym sposobie szukania ładu 4 ukazała się wraz z opowieścią o renesansowym humaniście *Petrarce* ze wstępem i w opracowaniu S. Bełzy. Ostatnim, jak dotychczas, wydawcą była moskiewska «Правда». Warto także odnotować, iż zawarte w *Alchemii słowa* refleksje autora stały się inspiracją dla wielu autorów i publicystów rosyjskich końca XX i początku XXI wieku⁵.

Inne pozycje Parandowskiego także doczekały się wielu wydań: *Dysk olimpijski* («Олимпийский диск», 1979, 1980, 1982); *Król życia* («Король жизни», 1981, 1990, 1993). Dwukrotnie *Aspazja* («Аспазия», 1979, 1981); *Eros na Olimpie* («Эрос на Олимпе», 1991, 1993); *Niebo w płomieniach* («Небо в огне», 1969, 1981); *Petrarka* («Петрарка», 1979, 1990).

Sporym echem odbiło się wydanie *Mitologii* («Мифология. Верования и легенды греков и римлян») w tł. N. Dubowa (Moskwa: «Детская литература», 1971). Tłumacz *Mitologii*, Mikołaj Dubow wcześniej znany w Polsce, jako prozaik, opatrzył dzieło obszernym i wyczerpującym wstępem pod znaczącym tytułem *Dlaczego powinniśmy znać mitologię starożytną*. Recenzent «Nowego Mira» ubolewając nad niskim nakładem książki, zaledwie 75 tysięcy egzemplarzy, zwraca uwagę na potrzebę elementarnej choćby rozeznania w sferze mitów, legend i podań. Argumentuje, że nawet

twórczości Puszkina nie sposób zrozumieć bez dziedzictwa antyku. Podkreślając wkład polskiego autora w popularyzację wiedzy o starożytnych konstatuje: «Nawet, jeśli o mitach greckich napisano tysiąc książek w dziesiątkach języków, to należy pogratulować Parandowskiemu, który wziął na siebie trud napisania tysiąca pierwszej. Polskiemu autorowi udało się znaleźć sposób, by to opowiedzieć zajmująco, świeżo i po swojemu»⁶.

Drobniejsze formy literackie Parandowskiego jak eseje, szkice i opowiadania pojawiały się w antologiach, zbiorach i wydaniach zbiorowych dzieł tego autora.

Pod koniec dekady lat sześćdziesiątych w tłumaczeniu V. Borisowa pojawił się szkic Parandowskiego *Wrześniowa noc* («Сентябрьская ночь»). Utwór osadzony w tematyce II wojny światowej, widzianej oczami cywilnego uciekiniera, był jednym z wielu tekstów zamieszczonych w antologii *Współczesne polskie opowiadania* («Современные польские рассказы», 1969) w wyborze i opracowaniu W. Borisowa. W antologii obok tekstu Parandowskiego znalazły się opowiadania m. in. M. Dąbrowskiej, J. Iwaszkiewicza, T. Hołuja, K. Prószyńskiego. *Wrześniowa noc* pojawiła się jeszcze dwukrotnie w antologii «Польский рассказ» z przedmową W. Choriewa (1974) oraz w przekładzie K. Starosielskiej w «Избранное» (1981).

Dekada lat siedemdziesiątych przyniosła kolejne antologie gromadzące utwory pisarzy, którym dane było doświadczyć hitlerowskiego jarzma. W zbiorze «Великое утро Фотиса Загориса. Рассказы европейских писателей о судьбах молодёжи во время Второй мировой войны» w oprac. V. Kotkina z przedmową D. Cholendro (Moskwa 1974) znalazło się miniaturowe opowiadanie o powszednim dniu okupacji *Treblinka villed'eaux*, w tłumaczeniu M. Ignatowa. Wstrząsający w swojej prostocie tekst zderza brutalną wojenną rzeczywistość z wiarą i nadzieją ludzi zmierzających prosto... ku śmierci.

Opowiadanie *Szpargaty* («Макулатура») w przekładzie A. Jermonskiego znalazło się w antologii «Писатели против фашизма. Произведения писателей социалистических стран Европы» w oprac. P. Vegina, N. Zamoškina i Borisa Sluckiego (Moskwa 1975). Tekst Parandowskiego, przenoszący czytelnika w okupacyjną rzeczywistość, mówi o niewiarygodnym wręcz zdziczeniu, jakie zapanowało w krajach podbitej Europy. «Otwarły się lochy historii, aby raz jeszcze wypuścić na świat upiory szaleństwa cesarów, z otchłani wieków powróciła swastyka pojawiająca się u ludów, które dopiero co wyras-

tały z epoki kamiennej, z jakichś murów Persji czy Asyrii zleciał na pieczęcie i odznaki ów ptak o skrzydłach rozpiętych w długie poziome linie, ten sam, w którego cieniu władcy ze sromotnych płaskrzeźb wykłuwają oczy lub obcinają uszy spętanym jeńcom».

Pod koniec lat osiemdziesiątych wydano antologię «Польская новелла XIX-XX веков» w wyborze i ze wstępem M. Mal'kova (Leningrad 1988). Znalazły się w niej trzy opowiadania Parandowskiego pełniące funkcję historycznych drobiazgów, *Kraszewski* i *Mona Lisa* w przekładzie S. Sokołowa oraz *Fonograf* w przekładzie G. Jazykowej.

¹ *Игнатов М.В.* Иностранная литература. 1973. № 6. С. 265–266.

² *Шитаева О.* В мире книг. 1972. № 4. С. 36–37.

³ *Соколянский М., Брука М.* Литературное Обозрение. 1973. № 8. С. 77–79.

⁴ *Масяг W.* Podróż do Arkadii // Twórczość. 1958. № 8. S. 118.

⁵ *Чувакин О.* Талантам надо помогать // Литературная учёба. 2009. № 6. С. 148–164.

⁶ *Нахов И.* Мифология. Зачем она? // Новый мир. 1972. № 7. С. 273–276.

Галина Санаева
(Ванкувер)

Диалог поэтов: Чеслав Милош и Тадеуш Ружевич

История диалога между двумя классиками польской литературы берёт начало в 1948 г. с публикации оды Чеслава Милоша под названием «Тадеушу Ружевичу, поэту». После перерыва в общении на несколько десятилетий, поэтическая дискуссия между Ч. Милошем и Т. Ружевичем возобновляется с новой силой спустя 50 лет – с выходом сборника стихов Т. Ружевича «Всегда фрагмент. Recycling» (1998) и сборника Ч. Милоша «Это» (2000).

Диалог между мэтрами польской поэзии сопровождался взаимным посвящением произведений, рядом личных встреч и корреспонденцией. Таким образом, история рассматриваемой поэтической дискуссии представляет интерес не только с точки зрения столкновения поэтико-философских концепций и мировоззрений двух поэтов, но, безусловно, и как интереснейшая полемика двух неординарных личностей и символических фигур польской литературы XX в.

Ч. Милош и Т. Ружевич задаются вечными вопросами схожей проблематики, однако каждый из поэтов отвечает на них по-своему, исходя из различного жизненного опыта, творческих идей и литературных влияний. В то время, как Милош пытается найти опору в философских, эстетических и теологических концепциях, Ружевич обнажает «правду жизни» и иронизирует над крушением идеалов в сознании современного человека. К данному аспекту сопоставления творчества поэтов относится тема военного опыта, культуры, проблема добра и зла, веры, поэтического «молчания», а также доверия художника к «слову». Неверию опыта «уцелевшего» в поэзии Ружевича противопоставлена вера в слово и надежду на спасение через обращение к вечным ценностям и прекрасному в творчестве Милоша.

Тадеуш Ружевич видит свою задачу в «создании поэзии после Освенцима», в возвращении первоначального смысла словам, которые утратили своё значение в послевоенных реалиях. Поэт демонстрирует дисгармонию между внешним и внутренним миром, а эстетическое наслаждение его ли-

рического героя от произведения искусства сменяется разочарованием и утратой веры в идеалы. По Ружевичу, сущность искусства заключается в срывании масок, провокации и нарушении традиции, а не поиске Аркадии: «Поэт мусорных баков ближе к правде / чем поэт облаков» («Дидактический рассказ», сборник стихов «Ничто в плаще Просперо», 1963). Зачастую поэт провокационно обращается к реалиям повседневной жизни, создавая свою поэтическую материю из примет обыденности. Так, газетное объявление об исчезновении человека в интерпретации автора может превратиться в исполненное драматизма обращение едва ли не ко всему человечеству, выражая тревогу о разрушении социальных связей и проблему глобального отчуждения (Ружевич Т. «Белые горошки» из сборника «Разговор с принцем», 1960). Поэтике Ружевича оказывается созвучно направление мысли Т. Адорно, Л. Витгенштейна, Г. Гадамера, Ф. Кафки, П. Целана.

Ч. Милош, в свою очередь, проходит путь от поэтики катастрофизма группы «Жагары» к взвешенному, философскому осмыслению человеческого опыта в контексте близких ему философских и теологических концепций. Поэт объясняет источник зла как нечто данное, заложенное самой природой, следовательно, как часть естественного баланса сил с надеждой на спасение и веру в лучшее. Нобелевский лауреат верит в то, что «разобщённое соединится» («Сияние лучистое», поэтический сборник «Это», 2000). На творчество Ч. Милоша оказали влияние традиции Э. Сведенборга, В. Блейка, мистика и религиозного философа Я. Бёме, а также идеи его родственника и наставника Оскара Милоша.

Будучи дискуссией непримиримых антагонистов, поэтический диалог Ч. Милоша и Т. Ружевича стал отражением развития основных направлений эстетической мысли XX в., а также вечного спора неоклассического и авангардного течения в литературе.

Инесса Свирида
(Москва)

Восстанавливая идентичность забытого мастера: Джозеф Саундерс

В последние десятилетия XVIII в. между Петербургом, Варшавой и Вильно происходило весьма активное движение иностранных художников. Изучение этого процесса позволило обратить внимание на забытую фигуру англичанина Джозефа Саундерса (1773, Лондон – 1854, Кременец) – одного из наиболее значительных и разносторонних иностранных мастеров, которые на рубеже XVIII–XIX вв. были связаны с восточноевропейским регионом.

Для Петербурга наибольшее значение имело творчество Саундерса как гравера императорского Эрмитажа, блестящего мастера гравированного портрета и репродукционной гравюры, а также как художника иллюстрированной русской книги – области, которой в России почти не занимались его соотечественники и другие иностранные мастера. В Вильно Саундерс возглавил художественную школу и создал академический по характеру гравёрный класс, лучшие воспитанники которого достигли европейского уровня, сформировались как просвещённые представители свободных профессий. Если как гравёр он имел конкурентов среди работавших в России мастеров, то преподавание в Виленском университете истории искусства и английской литературы носило уникальный характер.

В конце XVIII в. история искусства лишь начала конституироваться в качестве самостоятельной университетской дисциплины, отделяясь от знаточества, археологии, эстетики, а также от жанра жизнеописаний, восходившего к сочинению Джорджо Вазари (1560). Саундерса опередили лишь два гёттингенских профессора. Первым был уроженец Гамбурга, живописец Иоганн Доминик Фиорилло (1748–1721), автор многотомной «Истории рисовальных искусств», который с 1799 г. вел этот предмет наряду с философией и рисунком. Вторым – Иоганн Феофил Буле (1763–1821), первоначально коллега Фиорилло в Гёттингене, а в 1804–1810 гг. профессор философии, естественного права, истории и тео-

рии изящных искусств в Московском университете – его труды также оказались забыты историками искусства.

Университетский курс Саундерса заложил в Литве прочный интерес к истории искусства, прежде всего польского и литовского. Саундерс также выдвинул программу историко-патриотической живописи, идейно и тематически восходящую к общему культурному наследию народов Речи Посполитой. Всей своей деятельностью этот профессор настойчиво утверждал роль свободных искусств в формировании нравственных устоев и гражданского духа общества, чему в особенности служили лекции по истории английской литературы. Взгляды, пропагандируемые этим англичанином, его университетская деятельность способствовали возникновению той атмосферы, в которой в середине 1810-х гг. в Виленском университете начали создаваться тайные студенческие общества.

Тяжелейшая болезнь на три последние десятилетия вывела Саундерса из творческой жизни. Он оказался не просто забыт, но и утратил свою идентичность – на страницах крупнейшего в XIX в. «Лексикона художников» Наглера он и его произведения были представлены под двумя чужими именами, последствия чего не изжиты до настоящего времени. Это вызвало необходимость на архивных источниках реконструировать его жизненный и творческий путь.

Круг биографических источников, связанных с фигурой Саундерса, весьма обширен. Они различны по жанру – документальные и поэтические, служебные или частные, по типу – прямые и косвенные, по способу презентации – вербальные и визуальные, по происхождению – автобиографические и пришедшие извне. Различна степень их достоверности и возможность верификации, они очень неравномерно освещают этапы жизни художника, почти полностью отсутствуя относительно первого, лондонского, периода. Часть источников имеет характер нарратива, служит самоописанием автора, самоинтерпретацией его жизни (так наз. я- или эго-текст), а также его самораскрытием, каким в значительной мере являются сочинения Саундерса по истории искусства, хранящие отчетливый след его личности.

В случае Саундерса обращение к реконструкции биографии вызвано не интересом к методологическим инновациям, а необходимостью восстановить идентичность фигуры этого мастера. При этом понятие *идентификация* означает не только выявление образа Саундерса как личности, но и реконструкцию жизненной парадигмы, в которую вписывались события его творческой деятельности. Все это дает возможность представить связи этого художника-интеллектуала с кругом больших и малых культурных и исторических явлений его времени, с культурой британского Просвещения как основой, на которой он сформировался как мастер и личность.

Александра Семенова
(Москва)

Анна Лайминг как представительница кашубской литературы

В жизни и творчестве кашубской писательницы Анны Лайминг (1904–2003) отразились судьбы кашубов и история Поморья XX столетия, в ее произведениях можно найти характерные черты кашубской литературы XX века, составляющие ее своеобразие и заставляющие исследователей вести непрекращающиеся дискуссии о том, что такое кашубская литература.

Перечислим основные тезисы, обсуждаемые в работах по кашубской литературе и истории культуры, и покажем, как эти особенности проявляются в творчестве Анны Лайминг.

Во-первых, кашубская литература полилингвальна. Эта важнейшая особенность заставляет специалистов вести споры о принадлежности писателей и их произведений к кашубской литературе. Авторы, чьи юные годы пришлось на довоенный период, как правило, владели немецким языком, изучали его в школе, а также в той или иной степени пользовались «общепольским» языком, особенно в районах, подвергшихся урбанизации, например, в Гдыни. В некоторых случаях создание художественных произведений служило целям консервации богатств народной речи и фольклорных жанров, как в случае с драматургическими произведениями Бернарда Сыхты.

Во-вторых, тематика кашубской литературы сосредоточена вокруг повседневной жизни Поморян, семьи и быта, основ духовной культуры, будничного труда и праздников, сельской и городской жизни, что можно считать одним из проявлений того явления, которое принято теперь называть «кашубским регионализмом». Описания народных обычаев, бытовых предметов и костюмов также служат цели сохранения коллективной народной памяти о кашубских корнях в динамично меняющемся современном мире. Значительная часть кашубской прозы автобиографична: авторы сознательно стремятся зафиксировать текущий момент, сохранить память о своем поколении для потомков, описать и осмыс-

лить явления, составляющие сердцевину культуры их сообщества.

В-третьих, большинство кашубских авторов, в том числе писателей высокого уровня, чьи произведения, в частности, переведены на иностранные языки, посвящали литературному труду лишь часть своей жизни, отдавая силы и труд другой сфере деятельности или профессии на протяжении десятилетий.

Творчество Анны Лайминг (урожденной Жмуда-Тшебятовской) принадлежит кашубской литературе. На его примере можно увидеть, что язык художественного произведения не всегда является решающим фактором для отнесения произведения к той или иной литературе. Большая часть ее текстов написана на литературном польском языке, на котором ведется повествование. Диалоги между кашубскими персонажами и письма членов семьи А. Лайминг дает по-кашубски – на языке своей семьи, своего дома, своего детства и юности. Дополняет кашубско-польский лингвистический колорит стихия немецкого языка – языка школы, присутственных мест, родного языка соседей и друзей, живших бок о бок с кашубами. Неповторимую черту рассказов, повестей, драматических сцен А. Лайминг составляют кашубские диалоги, содержащие кладезь образцов живой народной речи и народной мудрости, синтезированной в бесчисленных пословицах и разнообразных устойчивых выражениях, составляющих неотъемлемую часть этих произведений. Исследуя язык произведений А. Лайминг, Йовита Кенчинска утверждает, что без пословиц (добавим – без всего богатства образцов народной речи) мир художественных произведений писательницы не был бы тем самым миром, не имел бы той непреходящей ценности, которая ему присуща и признана исследователями и читателями. Й. Кенчинска показывает, что пословицы, которыми изобилует проза А. Лайминг, составляют одно из важнейших художественных средств писательницы, а также выражают нравственные основания мировоззрения кашубов¹. Поразительное богатство и особая ценность языка персонажей А. Лайминг подтверждается тем, что в собраниях кашубских паремий и устойчивых выражений, тщательно подготовленных исследовате-

лями кашубского языка на протяжении полутора столетий и досконально изученных современными лингвистами, отсутствуют или даются в усеченном виде многие выражения, которые мы находим в текстах А. Лайминг.

Жанровое богатство произведений писательницы, обрещавшейся на протяжении своего творческого пути как к автобиографической прозе, так и к жанрам сказки, рассказа, сценам из народной жизни, представляет собой образец «кашубского регионализма» в литературе. Об этом дают представление уже названия работ исследователей, анализировавших творческое наследие А. Лайминг. Так, помимо языка ее произведений, внимание ученых привлекала их география, которую анализирует, в частности, Эбигнев Гершевски в статье «Литературный туристический маршрут им. А. Лайминг»², а также Юзеф Божишковский в работах «По следам детства... Гохи и Заборы Анны Жмуда-Тшебятковской-Лайминг»³ и «Кочевье – Гоженджей и Тчев в воспоминаниях Писательницы из Кашубии»⁴. Многочисленные персонажи произведений, имевшие реальные прототипы, и картина мира, представленная на страницах прозы Лайминг, являются свидетельством вековой истории кашубского Поморья.

Став символом современной кашубской литературы и обладательницей многочисленных литературных премий, А. Лайминг опубликовала свое первое произведение в 1959 г. Ее долгий почти полувековой творческий путь начался, когда писательница выполнила основной долг жены, матери и хозяйки дома. Между 1922 и 1931 гг. Анна Тшебятковска трудилась в качестве секретаря, а также служила в редакции «Gońca Pomorskiego» в Гданьске, а в дальнейшем посвятила себя дому и детям. В своей автобиографии А. Лайминг пишет, что лишь переехав в Слупск в 1953 г., она реализовала свои мечты, став автором трехтомных воспоминаний, нескольких драматургических произведений и многочисленных рассказов. Благодаря литературному таланту и уникальной памяти А. Лайминг сумела воссоздать на страницах своих произведений мир народа, частью которого была она сама и любовь к которому сохранила на протяжении всей своей долгой жизни.

Таким образом, мы видим, как в жизненном пути и творчестве А. Лайминг отражаются характерные особенности всей кашубской литературы, присущие десяткам кашубских писателей XX в. Более или менее совершенные в художественном отношении, полностью написанные на кашубском или содержащие лишь вкрапления народной речи – все они проникнуты любовью к родному краю, «регионализмом», стремлением сохранить для читателя живую историю и память об уходящей народной культуре, на протяжении столетий составлявшей стержень самосознания кашубского сообщества.

-
- ¹ *Kęcińska J.* Przysłowia i ich funkcja w prozie A. Łajming // Pro Memoria. Anna Łajming. 1904–2003. Gdańsk, 2004. S. 122.
 - ² *Gierszewski Z.* Literacki szlak turystyczny im. Anny Łajming // Pro Memoria. Anna Łajming. 1904–2003. S. 133–164.
 - ³ *Borzyszkowski J.* Śladami dzieciństwa... Gochy i Zabory Anny Żmuda-Trzebiatowskiej-Łajmingowej // Pro Memoria. Anna Łajming. 1904–2003. S. 75–88.
 - ⁴ *Borzyszkowski J.* Kociewie – Gorzędziej i Tczew we wspomnieniach Pisarki z Kaszub // Pro Memoria. Anna Łajming. 1904–2003. S. 89–110.

К юбилею Профессора Виктора Хорева



Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Rusycystyki

Na Jubileusz Profesora Wiktora A. Choriewa

Trudno uwierzyć, ale Profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew kończy w obecnym 2012 roku 80 lat! Wielkiej sławy sławista, jeden z najwybitniejszych w Rosji znawców, badaczy i komentatorów, a także popularyzatorów literatury polskiej, zafascynowany meandrami jej rozwoju zwłaszcza w wieku XXI, zachowuje w dniach sędziwego Jubileuszu podziwu godną żywotność i aktywność naukową.

Urodził się w Wołodgzie, mieście – jak mówią pieśni – „otoczonym rzeźbionymi palisadami”, tam odebrał edukację podstawową i średnią, po czym udał się do stolicy i tutaj w roku 1954 ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa. Niedługo potem został przyjęty na aspiranturę w renomowanym Instytucie Słowianoznawstwa Akademii Nauk ZSRR – od 1991 roku Rosyjskiej Akademii Nauk – gdzie się w 1962 roku doktoryzował, a w 1979 habilitował. W tym Instytucie przeszedł kolejne stopnie błyskotliwej kariery naukowej sławisty – ze specjalizacją polonisty – z czasem już jako znany i ceniony naukowiec, następnie przez wiele lat wicedyrektor Instytutu, poszerzał sławę tej placówki i umacniał jej prestiż. Miał znaczący udział jako autor i członek kolegium redakcyjnego w przygotowaniu dwutomowego dzieła „Istoria polskiej literatury” (Moskwa, t. I 1968, t. II 1969), które zachowało walory naukowe do dzisiaj. Profesor Choriew pomieścił w tomie II ponad pięćdziesięciostronicowy zarys „Literatura lat 1918-1944”, w którym wyeksponował, m. in. twórczość Brunona Schulza, Stanisława I. Witkiewicza i Witolda Gombrowicza, których wówczas w ZSRR nie zauważano. Napisał też wnikliwy rozdział o Gaczińskim. Do podręcznika uniwersyteckiego Profesor Choriew wrócił po wielu latach; w 2009 roku pojawia się w Moskwie książka Jego pióra pt. „Polska literatura XX wieku. 1890-1990”, rzecz oryginalna i rzetelna w ocenach i warstwie informacyjnej, która zwróciła uwagę w Polsce (recenzje prof. prof. A. Wołodźko-Butkiewicz z J. Orłowskiego).

Dorobek naukowy Profesora Choriewa posiada szerokie spektrum, znajdziemy w nim bowiem studia o twórczości Władysława Broniewskiego, Stanisława Dygata, Leona Kruczkowskiego i Jana Kasprówicza, a także szkice o Lucjanie Szenwaldzie, Tadeuszu Różewiczu, Tadeuszu Brezie, Jarosławie Iwaszkiewicz i Sławomirze Mrożku. Profesor był inicjatorem i współautorem poważnego opracowania w gatunku syntezy encyklopedycznej – „Istorija literatur Wostocznoj Jewropy posle wtoroj mirowoj wojny” (Moskwa, t. I 1955, t. II 2001), w którym pomieścił zarys dziejów literatury polskiej od 1945 roku do lat 80.

W ostatnich latach Profesor Choriew zajął się badaniem związków polsko-rosyjskich w sferze założeń imagologii. Był współinicjatorem konferencji naukowej w październiku 1997 roku w Moskwie kwestiom tym poświęconym, z udziałem gości polskich z Instytutu Badań Literackich PAN; owocem sesji jest tom studiów pt. „Polaki i ruskije w głazach drug druga” (Moskwa 2000); zainteresowania te i dyskusje przyniosły oryginalną książkę Jubilata: „Polsza i polaki głazami ruskich litieratorow. Imagołogiczeskije oczerki” (Moskwa 2005), frapującą, gdyż rzeczowo objaśnia źródła i semantykę wielu stereotypów i wzajemnych nieporozumień.

Profesor Choriew aktywnie uczestniczy również w życiu naukowym polskich ośrodków naukowych slawistycznych i polonistycznych, gdzie jest wysoko ceniony i serdecznie przyjmowany. Każdy Jego przyjazd do Polski – Uczzonego i Przyjaciela – witamy z radością.

Mnogaja leta, Wiktor Aleksandrowicz!

Warszawa, 23 stycznia 2012r.

Prof. dr hab. Antoni Semczuk
Uniwersytet Warszawski

**Echa polskich zesłań na Zachodzie
(1815–1881).
Przyczynek do tematu**

W niniejszym tekście więcej będzie pytań, niżli odpowiedzi, raczej będę zachęcała do przyjrzenia się temu, co i jak docierało do Europy o losach polskich zesłańców na Sybir (jak wiadomo, Sybir nie był nigdy pojęciem geograficznym, lecz obejmował cały obszar Cesarstwa Rosyjskiego – a potem ZSRR – gdziekolwiek pod przymusem, nie z własnej woli, trafiali Polacy), niżli przytaczała głosy prasy czy fragmenty książek. Zatrzymam się nieco dłużej jedynie na trzech przykładach.

Kłeska powstania listopadowego, napływ jego uczestników do Niemiec i Francji, ich triumfalny pochód w nieznanie – na emigrację, wzbudził chwilowe zainteresowanie «sprawą polską». Są to sprawy znane, niejednokrotnie opisywane.

Starano się także dotrzeć do opinii publicznej z informacją o tym, jak zostali potraktowani uczestnicy insurekcji, którym nie udało się, bądź którzy nie chcieli opuścić kraju. Poza wyrokami Sądu Karnego niewiele jednak wiedziano o losach skazanych. Co się stało z masą szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego wcielonych do armii rosyjskiej – nie wiadomo było wówczas i nie wiemy w gruncie rzeczy po dzień dzisiejszy. Gdzie odbywali służbę, ilu pozostało na zawsze zakładając nowe rodziny, ilu wróciło – na pytania te nie potrafił odpowiedzieć Wiesław Caban w swej opartej na gruntownej kwerendzie monografii¹; zresztą interesowała go ona jedynie marginalnie.

O skazanych na katorgę krążyły najbardziej fantastyczne opowieści, ich bohaterem czołowym był Roman książę Sanguszko, przedstawiany na litografiach jako przykuty do taczki w podziemnej kopalni. Inne litografie także były wytworem fantazji, jak choćby ta Dawida Jules'a, która zdobi okładkę mego słownika zesłańców². Oczywiście los skazanych nie był godny pozazdroszczenia: Sanguszce najpierw za hardą odpowiedź na sądzie Mikołaj I osobiście nakazał odbyć drogę na Syberię pieszym etapem, a potem w drodze łaski zamienił katorgę na służbę w wojsku. Warunki, w jakich ją odbywał, dalekie były od tych, jakie stały się udziałem prostych żołnierzy: oczywiście trzypokojowe mieszkanie w Tobolsku to nie był

pałac w Sławucie, ale nie zabraniano księciu ani polowań, ani jazdy na wierzchowcu, a usługiwał skazańcowi inny zesłaniec. Sanguszko otrzymywał z domu sumy, które umożliwiały mu cały czas wspierać finansowo swych współtowarzyszy; troszczył się o ich los także wówczas, kiedy na własne życzenie przeniesiono go na Kaukaz, gdzie w walce z Góralami otrzymał awans i odznaczenia, co umożliwiło mu – głuchemu na skutek wybuchów – wrócić do Sławuty.

Nie prowadziłam kwerendy w prasie tych lat – sprawą żołnierzy i zesłańców polistopadowych (a także jeńców 1812 r.) należałoby się dopiero zająć – nie potrafię więc powiedzieć, co i jak pisano o zakatowywanych pod kijami (nota bene kara chłosty była stosowana także w innych armiach, np. brytyjskiej jeszcze w dobie Wojny Krymskiej), o wysyłanych na linię orenburską i na Kaukaz.

Rzecz zadziwiająca: z jednej strony do opinii publicznej docierały przerażające wieści o męczarniach katorżników, z drugiej, kiedy pojawiał się świadek, który o swych przeżyciach pisał i opowiadał, poddawano jego relację w wątpliwość. Mowa, rzecz jasna, o najbardziej przemyślanej i szczegółowo opisaney, udanej ucieczce Rufina Piotrowskiego. Wiarygodność jego wspomnień nie ulega żadnej wątpliwości³, wbrew temu, czemu długo dawano wyraz na emigracji, powątpiewając nawet w to, czy istotnie zbiegł był z Syberii, co go dotknęło do żywego, bardziej od nieufności wyrażanej na łamach prasy niemieckiej. Podważano prawdziwość jego opowieści o martyrologii księdza Jana Henryka Sierocińskiego, który – skazany na karę chłosty – został wraz ze współtowarzyszami w majestacie prawa zakatowany na śmierć czy nie mniej okrutnych represji wobec bohatera powstania listopadowego Piotra Wysockiego nazywając je «bajkami» noszącymi wręcz «piętno nieprawdopodobieństwa, a nawet wręcz niemożliwości». Autorom obcym odpowiedział na łamach «Le Constitutionnel»⁴ w numerze z 18 grudnia 1846 r. przysięgając «na Boga i swe sumienie», że wszystko, co opisał, jest prawdą. W styczniu roku następnego na zebraniu polskich wychodźców w Paryżu – jak donosił swym mocodawcom agent III Oddziału Własnej JCMości Kancelarii Jakow Tołstoj – Piotrowski opowiadał zgromadzonym tu emigrantom o swych przeżyciach, «a nawet obnażał ręce i plecy, by pokazać blizny pozostałe z czasów więzienia i pobytu na Syberii»⁵. Ten okazany mu po powrocie na emigrację brak zaufania rodaków zachował na zawsze w pamięci: po latach, w Błoniu pod Tarnowem, gdzie spędził bez mała cztery lata

jako nauczyciel młodego Jordana, syna właścicieli majątku, opowiadał im, jak po przebyciu tysiąca kilometrów i odzyskaniu wolności tylko dzięki pomocy różnych «pocziwych» ludzi, gdy dotarł wreszcie do Paryża, spotkało go jedno z największych rozczarowań: „nie chcieli rodacy wierzyć w jego ucieczkę. Było mu to nadzwyczaj bolesne, aż ktoś z Sybiru powrócił po jakiejś amnestii i mówił o Rufina ucieczce, i że zginął zapewne w drodze tak ciężkiej. Wtedy uwierzyli w prawdę słów Piotrowskiego, któren żył w nędzy»⁶.

Uwierzyli, ale jednak tragiczna historia spisku omskiego ani los Piotra Wysockiego nie zrobiły wrażenia na rodakach z Wielkiej Emigracji: był rok 1846, kiedy Rufin Piotrowski pojawił się nad Sekwaną, Publikacji na łamach «Dziennika Narodowego» (nr 292 z 14 listopada 1846 r. pt. *Okrucieństwa moskiewskie dokonane na Polakach na Syberii* nie dostrzegł żaden z wieszczów, choć przecież interesował się Sybirem zarówno twórca *Dziadów* jak i autor *Anhellego*. Pamiętnik spisany w latach 1849–1850 nie znalazł podówczas wydawcy, zapewne dlatego, że poza opublikowanymi fragmentami nie miał charakteru martyrologicznego i zawierał sporo krytyki pod adresem emigracji. Jego oddźwięk był więc niewielki: ograniczył się do publikacji na łamach «Le Constitutionell» (nr z 15 grudnia) i «Augsburger Allgemeine Zeitung» (nr 257 z 23 grudnia 1846 r.), opatrzone wspomnianym komentarzem redakcyjnym podważającym prawdziwość przytaczanych faktów.

Światowy rozgłos zyskały sobie opiewane w poezji i prozie żony dekabrystów – jednaście wspaniałych kobiet (dziesięć Rosjank i jedna Francuzka), które podały na Syberię za skazanymi uczestnikami buntu z 14/26 grudnia 1825 roku. Poświęcono im dziesiątki publikacji, artykułów, książek, wierszy i powieści⁷. O trzydziestu kilku Polkach i jednej Francuzce, które w okresie międzypowstaniowym przemierzyły tę samą drogę bez znajomości języka i bez koneksji rodzinnych ułatwiających urządzenie się na nowym miejscu – czytelnik zagraniczny nic nie wiedział (polski też miał nader słabe pojęcie). Nieco więcej pisano o znacznie liczniejszym gronie zesłańców postyczniowych⁸.

Jedynym wyjątkiem była Ewa z Wendorfów Felińska, sekretarka i powiernica Szymona Konarskiego, skazana w trybie administracyjnym za organizację komórki kobiecej w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego, najpierw do Berezowa w guberni tobolskiej, następnie do Saratowa. Na zesłaniu narodziła się Felińska-pisarka,

pierwsza «turystka mimo woli», która swe wrażenia spisała i opublikowała w Wilnie w latach 1852–1853⁹ zyskując sobie z miejsca nie tylko popularność w kraju, lecz i za granicą. Pisana z myślą o wydaniu w kraju, a więc podlegająca autocenzurze, stanowiła zaiste sensację literacko-społeczną: czytelnik dowiadywał się z niej nie tylko o samej autorce i jej przeżyciach, lecz również o jej współtowarzyszach, o ciężko chorym Sewerynie Krzyżanowskim, zesłanym za udział w Towarzystwie Patriotycznym. W latach 1852–1854 ukazały się aż trzy wydania angielskie pod zachęcającym tytułem *Revelations of Siberia by a Banished Lady* w przekładzie Karola Lach-Szyrmy i jedno duńskie (1855); do czytelnika rosyjskiego jej książka nie dotarła, chyba że znał język polski, co nie należało podówczas do rzadkości. Trzy wydania świadczą o poczytności książki Ewy Fe-lińskiej, jednakże co pisano na jej temat w prasie – nie wiemy, kwerendy takiej bodajże nie prowadzono. Z jej książki korzystał – nie wymieniając nazwiska – amerykański dziennikarz Thomas Wallas Koch w swych ogłoszonych pod nader długim tytułem¹⁰ wrażeniach z podróży odbytej w latach 1866–1869, o których opublikowała w 1995 r. artykuł Anna Peck¹¹.

Nieco później istnym «bestsellerem literatury polsko-syberyjskiej» stały się niedocenione w latach czterdziestych wspomnienia Rufina Piotrowskiego. Z wydanej w trzech tomach w Poznaniu w 1860–1861 r. całości *Pamiętników z pobytu na Syberii* Julian Klaczko sporządził tłumaczenie francuskie wersji skróconej, która opatrzona jego wstępem ukazała się w 1862 r. w poczytnym renomowanym czasopiśmie «*Revue des Deux Mondes*», w roku następnym w formie książkowej w Paryżu w wydawnictwie «Hachette» (w tym samym 1863 r. ukazała się skrócona wersja rosyjska, którą omówił na łamach «*Kołokoła*» Aleksander Hercen). Już w 1862 r. ukazały się edycja duńska i niemiecka, w 1863 r. dwa wydania angielskie, a w 1864 edycja holenderska. W luksusowym wydaniu francuskim z 1870 r. oprócz portretu znalazło się dziesięć rycin oddających nastroj książki, nie stanowiących tym razem jedynie wytworu fantazji grafika, jako że sam autor sprawował nad nimi pieczę. Nakład wznowiono w 1888 r. i zafascynowany książką Knut Hamsun w 1934 r. zainicjował jej tłumaczenie na język norweski. To co budziło swego czasu wątpliwości wśród emigrantów (i dziennikarzy), kiedy Piotrowski pojawił się w Europie (np. sposób zimowania w wykopanych jamach śniegowych) było w pełni zrozumiałe dla

Skandynawów! Książka była więc znana, przy czym nie tylko w Europie: korzystał z niej wspomniany wyżej Thomas Wallace Koch i zapewne nie on jeden. W tym samym czasie ukazał się francuski przekład wspomnień Maksymiliana Jatowta piszącego pod pseudonimem Jakuba Gordona¹²; i znowu nie wiemy, jaki był zasięg czytelniczy tej książki, czy i co o niej pisano.

Raz jeszcze wypadnie przyznać, że nasza wiedza o tym, co pisano na temat polskich zesłańców XIX wieku jest nader ograniczona. (Niecو więcej uwagi poświęcono narodnikom i socjalistom, zwłaszcza z racji zamachów na dygnitarzy, ale to już wykracza poza zakresłone przeze mnie ramy). A nie ulega wątpliwości, że warto się recepcji polskiej literatury zsyłkowej w Europie bliżej przyjrzeć, by przekonać się, czy także ukorzenił się tam mit Sybiru – krainy męczenników, czy też może w związku z napływem przedsiębiorców, zainteresowanych eksploatacją syberyjskich bogactw – Sybiru krainy wielkich możliwości. W tym miejscu przywołać by należało między innymi znakomite dzieło George'a Kennana¹³, które wywarło znaczny wpływ na opinię publiczną w Europie i Ameryce. Z kolei jako przykład negatywny wypadnie wymienić książkę Jacqueline Fenner *Les Goulag des Tzars* (Paris 1986), pretendującej do miana monografii naukowej, a opartej na wąskim materiale źródłowym (głównie francuskim), pełnej błędów rzeczowych (na co zwracała już uwagę Elżbieta Kaczyńska¹⁴), a co najistotniejsze przeprowadza całkowicie bałamutną paralelę pomiędzy carskim i sowieckim systemem represji.

Na zakończenie kilka słów pragnę poświęcić awanturnikom, których pamiętniki przez wiele dziesięcioleci były traktowane bezkrytycznie. Podejrzenia emigracji, iż wśród powracających z zesłania mogą kryć się carscy agenci, dla pierwszej połowy XIX wieku były raczej bez pokrycia. W każdym bądź razie nie potrafię podać żadnego nazwiska osoby współpracującej z zagraniczną agenturą III Oddziału, z jej głównym przedstawicielem i informatorem, Jakowem Tołstojem. Podejrzenia te dawały jednak o sobie znać i nie wykluczone, że to one stanowiły powód, iż uciekinierzy z zesłania tak rzadko sięgali po pióro...

Sytuacja uległa radykalnej zmianie w drugiej połowie stulecia: wśród emigrantów postyczniowych pojawili się rzeczywisci agenci, o ich działalności pisano, nie będę się więc powtarzać. W Galicji pojawiło się też wielu «fałszywych Sybiraków» przed którymi

ostrzegala prasa, żebraków naciągających na datki, opowiadających niestworzone historie o swych męczarniach. I nie tylko opowiadających. Chętnie przytaczany przez badaczy pamiętnik Jakuba Kotona pt. *Ucieczka z Sybiru* wydany w Krakowie w 1891 r. pt. *Ucieczka z Syberyi*, a opisujący trzykrotne zbiegostwo autora aż z Jakucji, jest najwyraźniej apokryfem: podawane przezeń informacje o Jakutach i ich obyczajach – bałamutne; w żadnym z dokumentów dotyczących około 40 tysięcy zesłańców postyczniowych nie natrafiliśmy na jego nazwisko, a w archiwum w Jakucku nie znalazł się nikt, kto by stamtąd zbiegł po raz trzeci. Co więcej, w archiwach policyjnych, gdzie poszukiwano owego zbiega na skutek informacji agenturalnej o ukazaniu się pamiętnika, także nie odnaleziono żadnego śladu jego pobytu na Syberii! Agent powiadał m. in., że pamiętnik ukazał się też po niemiecku, jednakże jak dotąd nie udało się nam natrafić na egzemplarz w żadnej z bibliotek, do których mieliśmy dostęp. Nie wiemy też, czy na jego temat cokolwiek napisano. Agenturalną przeszłość miał też za sobą autor *Luźnych kart pamiętnika zbiega z Sybiru*, opublikowanych pod anagramem X. Purk w Lipsku w 1877 r., Stanisław Krupski¹⁵, do którego i na emigracji miano niebezpieczne podejrzenia o kontynuowanie owej współpracy... I te sprawy trafiały najpierw do sądów, a następnie niekiedy na łamy prasy europejskiej.

Jak widać, istnieje uzasadniona potrzeba przeprowadzenia kwerendy w owej prasie XIX-wiecznej: można z góry przewidzieć, że znajdą się na jej łamach nie tylko oficjalne informacje, np. o wyrokach w sprawie wydarzeń na trasie okołobajkalskiej w czerwcu – lipcu 1866 r., lecz i odgłosy na temat wspomnianych – a także pominiętych przez nas – publikacji książkowych.

¹ Caban W. Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831–1873. Warszawa, 2001.

² Śliwowska W. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny. Warszawa, 1988.

³ Nader przekonywająco pisze na temat «wiarygodności» pamiętników R. Piotrowskiego Z.J. Wójcik (*Wójcik Z.J. Rufin Piotrowski i jego ucieczka z Syberii w 1848 roku [winno być: 1846]*). Bestseller literatury polsko-syberyjskiej // *Przegląd Wschodni*. 1997. T. IV. Z. 4. S. 805–818; tamże podane informacje o polskich i zagranicznych edycjach pamiętnika; zob. także: Śliwowska W. Rufin Piotrowski w świetle

- nieznanych materiałów policyjnych // Wrocławskie Studia Wschodnie. 1997. № 1. S. 11–31.
- ⁴ Tamże ukazał się jego tekst o Sierocińskim i Wysockim. Tłumaczenie pt. «Martyr du Prieur Siericinski. Extrait des Mémoires de Mr Rufin Piotrowski publiés à Posen dans les journal «Goniec Polski» znajdujemy w archiwum Czartoryskich w Krakowie (Rkps 5660. K. 331–350).
- ⁵ Ten fragment raportu J. Tołstoja dołączono do akt R. Piotrowskiego (Центральный Державный Историчный Архив Украины в Києве. Zesp. 442, Vol. 259. Cz. 2. K. 43–44).
- ⁶ Biblioteka Jagiellońska. Dział Rękopisów. II 9793. K. 24–26.
- ⁷ Zob.: Декабристы и Сибирь. Иркутск, 1985. С. 106–109.
- ⁸ Kwerendy prowadzone w Instytucie Historii PAN dla potrzeb «Kartoteki zesłańców polskich w XIX wieku» i komputerowej bazy danych zesłańców postyczniowych pozwalają na dokładniejsze określenie zarówno liczby zesłańek, jak i wyjaśnienie ich losów, zajęć na wygnaniu, powrotu do kraju bądź pozostania na zawsze w imperium (śmierci lub zamażpójścia).
- ⁹ *Felińska E.* Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i Saratowie przez... Wilno, 1852–1853. T. I–III.
- ¹⁰ *Knox T.W.* Overland through Asia. Pictures of Siberian, Chinese and Tatar life. Travels and adventures in Kamchatka, Siberia, Chine, Mongolia, Chinese Tartary and European Russia with full accounts of the Siberian exiles, their treatment, condition and mode of life, a description of the Amoor River and the Siberian shores of the Frozen Ocean. San Francisco, 1871.
- ¹¹ *Peck A.* Polacy na Syberii – w relacjach amerykańskiego dziennikarza Thomasa Wallace’a Knox’a // Universitas Gedanensis. 1995. № 12. S. 50–61.
- ¹² *Gordon J.* Mes prisonns en Russie. Leipzig, 1861.
- ¹³ *Kennan G.* Tent Life in Siberia. Adventures Among the Koraks and Other Tribes in Kamtchatka and Northern Asia. New York, 1970; liczne późniejsze wydania, a także tłumaczenia na język polski. Por.: *Filipowicz M.* Amerykanin odkrywa Syberię i Sybir. Zapomniany George Kennan // Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim / Pod red. E. Niebelskiego. Lublin; Warszawa: KUL i IH PAN, 2008.
- ¹⁴ *Kaczyńska E.* Syberia największe więzienia świata (1815–1914). Warszawa, 1991. S. 175, 308.
- ¹⁵ Zob. o nim w: *Śliwowska W.* Ucieczki z Sybiru. Warszawa: Iskry, 2005. S. 235–380.

Людмила Софронова
(Москва)

**«... tak Pan Bóg pofortunii»
(J.Ch. Pasek)**

Фортуна не видит, кого она возвеличивает и кому из-за нее приходится «упадать». Ей безразлично, кто находится перед ней, она безотносительна к миру людей. Она насылает на них случай, вбирающий в себя все возможные значения произвольности. Фортуна вращает свое колесо, не зная, в какое мгновение оно остановится и перед кем. Поэтому Ст. Г. Любомирский представлял его пугающим: «Когда ты колесо со смехом обращаешь, | Самих бессмертных, ты, Фортуна, устрашаешь». С вращением колеса к человеку приходят счастье и удача с тем, чтобы удалиться от него. Тогда его преодолевают несчастья, беды и печали.

Но не Фортуна господствует над всем миром, так как она находится в руках Господа, он ей управляет и повелевает служить тому, кто чист перед ним. Так Фортуна утрачивает независимость. Не она выбирает, кого погубить или наградить. Это делает Бог, выпуская ее в нужных случаях на театр жизни человеческой. Только он вершит судьбы мира, играя фортуной, как мячиком. Таким образом, не она играет человеком («Фортуна, вознося нас и круша, | Бросает кость не так, как ждет душа» (Я.А. Морштын), ею играет Господь. Фортуна не бессмысленно бросает человека из стороны в сторону, точнее, вверх и вниз; она следует указаниям свыше и на самом деле сама движется. Она не пассивна в отношениях с Господом, пытается вырваться на свободу и уйти из-под его опеки. Но старания эти напрасны – милосердие Господне не позволяет ей устраивать триумфы и праздновать победу над человеком. Десница его хранит от нее человека. Но стоит Богу отвернуться от человека, Фортуна начинает действовать. Поэтому он обязан реагировать на ее присутствие в мире.

Так как любое начинание человека немислимо без воли Божией, Фортуна ему не так страшна. Ее перемены не должны его пугать, в них состоит всеобщий закон бытия. Человек может ей противостоять, но только не заключать с ней

«пароль». Такие попытки ни к чему не приведут. Ему только кажется, что он способен договориться с Фортуной – на самом деле это невозможно. Лишь с Богом следует заключать «кавалерский пароль», который никогда нельзя нарушать.

Так всю свою жизнь поступал Ян Хризостом Пасек, который знал, что жестокие несчастья обязательно сменит радость и наступит великое счастье, конечно, благодаря милости Божией. Пасек никогда не отчаивался и постоянно просил у Господа счастья на будущий год, называя прошедший счастливым. Счастье, удача не обходили его стороной. Все ему удавалось благодаря Господу, за что он радостно его благодарил, уверенный в том, что он счастливо ведет его туда, куда он и сам намеревается идти. Фортуны же свою, т. е. судьбу, с которой случались «революции» разные, он называл хваткой и горячей. Ей всегда удивлялись люди.

Надежда Старикова
(Москва)

Из истории люблянской полонистики: Тоне Претнар

Словенско-польские культурные связи имеют давнюю историю, восходящую к началу XIX в. Научные контакты упрочились в XX в., чему в немалой степени способствовало открытие в Любляне первого национального университета (1918), где на философском факультете начали успешно развиваться славистические дисциплины. Польский язык как специальность появился здесь в 1947 г., в 2003 г. на отделении славистики была открыта кафедра польского языка и литературы, возглавляемая профессором Н. Ежем. Одним из ключевых направлений ее деятельности является подготовка высококвалифицированных переводчиков, потребность в которых в последние годы возросла.

У истоков формирования университетской полонистической школы перевода стоял выдающийся литературовед Тоне Претнар (1945–1992), внесший существенный вклад в изучение славянской метрики. Со студенческих лет судьба связала его с Польшей – выбрав в качестве основного славянского языка польский, он несколько раз проходил стажировку в Варшаве, где в 1988 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «А. Мицкевич и Ф. Прешерн», помимо Люблянского университета, в качестве лектора словенского языка преподавал в университетах Кракова и Катовиц, выпустил практическое пособие «Словенский язык для поляков» (1980), востребованное до сих пор. Вышедшая посмертно книга Претнара «Прешерн и Мицкевич: о словенском и польском романтическом стихе» (1998) открывает новую страницу компаративных стиховедческих исследований. Занимаясь со словенскими студентами историей, теорией и практикой перевода, Претнар сам много переводил с польского (Ч. Милош, Т. Конвицкий, З. Херберт), чешского, русского, английского, литовского. В 1991 г. именно за переводы с польского он был удостоен премии Антона Совре – высшей национальной переводческой награды.

В память о Тоне Претнаре в 2004 г. в Словении была учреждена международная премия его имени, которую присуждают «за вклад в популяризацию словенской литературы и языка в мире». А его ученики сохраняют и продолжают заложенные Претнаром традиции художественного перевода.

Виктория Тихомирова
(Москва)

**«Места памяти»:
Кресы в польской литературе**

Цель доклада – показать на литературном материале специфику польского мышления о так наз. «кресах» (бывших восточных окраинах Речи Посполитой).

1. В литературном отражении проблематики «кресов» обозначены две разнонаправленные тенденции: идеализация и мифологизация этих земель и одновременно создание объективной картины жизни на «пограничье» – в самом общем значении этого термина.

2. В 1990–2000-е годы литературу, занимающуюся «кресами» как особым понятием, начали рассматривать в более широких аспектах, из которых в докладе выделены два: пространственный (новый регионализм, литература «малых родин», «места памяти» как институционализированные формы коллективных воспоминаний о прошлом) и имагологический (проблематика взаимодействия «своего» и «чужого» в процессе межкультурных контактов, формирования этнических стереотипов).

В докладе дается интерпретация письменных свидетельств поляков, а также литературных и паралитературных текстов польских писателей, описывающих процесс присоединения к Советскому Союзу польских восточных земель – Западной Украины и Западной Белоруссии – со вступлением на эту территорию Красной Армии 17 сентября 1939 года. Выявляется роль различных факторов в формировании и закреплении в польском сознании комплекса представлений о СССР и его гражданах, которые складывались в новой исторической реальности и взаимодействовали с ранее сложившимися стереотипами России и русских.

3. Понятие «кресы» функционирует в современном польском сознании и как исторический феномен, и как важный фактор интеграции польского общества, и как особое, оригинальное явление национальной культуры, чему способствуют сохранение и развитие литературных традиций. Кроме того, польская мысль о «кресах» проникает в текущую политику, где становится весомым аргументом в вопросах отношений Польши с ее ближайшими соседями, а также в спорах о национально-культурном наследии.

Светлана Толстая
(Москва)

Вместо поздравления

В стихах Виславы Шимборской песок, камень, ветер, цветы, звери, человеческие чувства, вещи составляют единый мир, где все держится на интимных связях всего со всем, хотя каждый объект и каждое явление индивидуальны и неповторимы («Żaden dzień się nie powtórzy, | nie ma dwóch podobnych nocy, | dwóch tych samych pocałunków, | dwóch jednakich spojrzeń w oczy»). Ее привлекают антиномии и парадоксы (ср. «małe wieczności»; «Nieprzyjazd mój do miasta N | odbył się punktualnie»; «Istnieli albo nie istnieli | Na wyspie albo nie na wyspie. | Ocean albo nie ocean | połąkał ich albo nie»), в ее мире противоположности могут обращаться друг в друга, а родственные души порой теряют связь друг с другом («Dziś, kiedy jesteśmy razem, | odwróciłam twarz ku ścianie. | Róża? Jak wygląda róża? | Czy to kwiat? A może kamień?»). Она стремится проникнуть туда, где виден зазор между реальностью и вымыслом («szczelina między faktem a zmyśleniem»), словом и смыслом, душой и телом, сном и явью, жизнью и смертью. В ее стихах главные герои – Время (вечность и мгновение), Число (миллиарды и единицы), Слово, создающее свой мир и царствующее в нем. Когда-нибудь я напишу об этом подробнее, а пока вместо поздравления шлю Виктору Александровичу три своих перевода из Виславы Шимборской. В этих стихах и Слово, и Время, и антиномии, и парадоксы.

Радость писания (Radość pisania)

Куда бежит написанная серна в написанном лесу?
Испить написанной воды,
что мордочку ее копирует, как калька?
И голову зачем-то подняла – наверно что-то слышит?
На ножках четырех, одолженных у правды, стоя,
она под пальцами моими прядет ушами.
Тишина – и это слово тоже бумагой шелестит
и раздвигает ветви, пришедшие за словом «лес».

На белый лист готовы из засады прыгнуть буквы,
которые сложиться могут во что-нибудь плохое,
и фразы могут запереть в кольцо.
Спасения тогда от них не будет.

Ведь в капельке чернил немалый есть запас
охотников, которые, прищулив глаз,
готовы ринуться вниз по перу
и серну окружить и выстроиться к бою.

Они забыли то, что здесь – не жизнь.
Другие – черные на белом – тут царят законы.
Мгновенье ока будет длиться столько, сколько захочу,
и можно поделить его на маленькие вечности
из остановленных в полете пуль.
И если прикажу, ничто и никогда здесь больше не случится.
И лист не упадет, не будь моей на это воли,
и стебель под копытцем не согнется.

Есть, значит, мир такой,
в котором правит суд свободный?
Где я связую времена цепями знаков?
Где бытие навек подвластно моему указу?

Радость писания.
Возможность остановить мгновенье.
Мечь брэнной руки.

Музей (Muzeum)

Есть тарелки, но нет аппетита.
Есть кольцо обручальное – нет взаимности
лет триста по крайней мере.

Есть опахало – а где румянец?
Есть мечи – где же гнев?
И лютя в сумерках не звякнет.

Нет вечности – и вот нагромоздили
вещей старинных десять тысяч.
Замшелый сторож дремлет сладко,
усы он свесил над витриной.

Металл и глина, птичьи перья
здесь свой триумф справляют тихо.
Хочовет только шпилька – какой-то хохотушки из Египта.

Корона пережила голову.
Проиграла ладонь рукавице.
Одержал победу над ногой правый башмак.
А я – живу, прошу поверить.
И состязанье с платьем длится!
Но как оно сражается!
И как хотело б пережить меня!

Благодарность (Podziękowanie)

Я благодарна тем,
кого я не люблю.

За легкость ту, с какой мирюсь
с тем, что они другому ближе.

За радость, что не я –
волк для их овечек.

Спокойно с ними мне,
свободна с ними я,
любовь же дать того не может
и взять не сумеет.

Не жду их
от окна до двери.
Я терпеливей солнечных часов,
я понимаю то, чего любовь не понимает,
прощаю то,
чего любовь конечно б не простила.

От встречи до письма
не вечность для меня проходит –
всего лишь пара дней или недель.

Поездки с ними всегда удачны,
концерты прослушаны,
храмы осмотрены,
пейзажи ярки.

А когда нас разделяют
семь гор и рек,
это горы и реки,
известные всем по карте.

Это их заслуга,
что я живу в трех измерениях,
в пространстве не лирическом и не риторическом,
с настоящим, подвижным горизонтом.

Сами они не знают,
сколько всего несут в пустых руках.

«Я им ничего не должна», –
сказала бы любовь
на эту открытую тему.

Rosia w «Raptularzu 1843–1849» Juliusza Słowackiego

Opisując przed laty główne motywy *Raptularza 1843–1849* Juliusza Słowackiego, nie zwróciłem baczniejszej uwagi na wątek rosyjski tego notesu. To moja nieodrobiona lekcja – teraz chcę to zaniedbanie nadrobić.

Indeks odniesień do problematyki rosyjskiej jest dość obfity; samo określenie «Moskwa», «moskiewski» jest najczęściej pojawiającym się toponimem.

Najdłuższym zwartym tekstem w omawianym *Raptularzu* jest wypis z lektury *Historii Rosji* Karamzina. Jest to bitych 14 stron szczegółowych wypisów od początku wieku XIII do połowy XVI. Miejscami cytowany jest wprost tekst rosyjski w zapisie alfabetem łacińskim, co by świadczyło o tym, że Słowacki korzystał nie z tłumaczenia francuskiego, lecz czytał Karamzina w oryginale. To jest centralny moment rosyjskich odniesień *Raptularza* – to streszczenie kilku wieków historii Rosji na kilkunastu stronach. Umieszczony niemal dokładnie na kartach środkowych brulionu, wyznacza centrum rosyjskich zainteresowań Słowackiego. Poeta sięga historycznych korzeni; charakterystyczne, że wypisy wygasają tuż przed objęciem panowania przez Iwana Groźnego. W streszczeniu Słowackiego pojawia się sformułowanie: «Rosja jako republika kniaziów». Zostaje wykreślona Rosja budująca knutem imperialna potęgę, natomiast odgrzebane zostają tradycje republikańskie, sięgające głębokiego średniowiecza i poprzedzające doświadczenie polskiej republiki szlacheckiej. Słowacki zwraca szczególną uwagę na postać Michała Twerskiego, która potraktowana jest z dużą empatią. Zamordowany książę Nowogrodu stanie się później jednym z wcieleni Króla-Ducha, a nawet czymś w rodzaju awataru poety, o czym mówiłem w Moskwie w opublikowanym już tekście ¹.

Drugim momentem, wokół którego ogniskowało się myślenie Słowackiego o Rosji był wątek współczesny. Wiązał się ze zrodzoną w Kole Towiańczyków inicjatywą adresu do cara, przeciwko któremu Słowacki z całą mocą protestował, dobywając jako swój oręż tradycję szlacheckiego liberum veto. Ten wątek rozgrywa się w projektach i brulionach listów, które ten sprzeciw Słowackiego miały dokumento-

wać – sprzeciw wobec inicjatyw «łączyjących nas z Rosją» i mających znamiona upokorzenia przed carem.

Te dwa rozbudowane wątki sąsiadują ze sobą i są w widocznym dialogu – przeciwko barbarzyńskiemu uciskowi teraźniejszości szuka się broni – pociechy – a może nadziei? Zagrzebanej głęboko w nieznanym ogółowi kartach rosyjskiej historii.

Wątkiem paralelnym, wyizolowanym z historii rosyjskiej jest temat tzw. schizmy wschodniej: cały fragment wypisów jest poświęcony soborowi, na którym patriarcha moskiewski miał rozstrzygnąć z papieżem kwestie sporne pomiędzy dwoma Kościołami (jak wiemy, bezowocnie). Wątek prawosławia, cerkwi, fatalnej kondycji umysłowej kleru ortodoksyjnego przewija się w wielu dalszych notatkach.

Historyczna kwerenda poety znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach poetyckich. Odzywa się w wierszu *Śmierć, co trzymaście lat stała koło mnie* – inspirowanym nieprawdziwą pogłoską o śmierci cara Mikołaja. Ale przede wszystkim godny zauważenia jest fakt, że w notowanych na kartach *Raptularza* oktawach *Króla-Ducha* przypomina poeta związek córki świętego Włodzimierza, ruskiej księżniczki z rodu Rurykowiczów Marii Dobroniegi z Kazimierzem Odnowicielem. Była ona matką dwóch władców Polski: Bolesława II Śmiałego oraz Władysława I Hermana.

Zapisy w notesie Słowackiego są świadectwem wnikliwego zainteresowania Słowackiego problematyką rosyjską, zarówno współczesną, jak i odległą w czasie. Wydaje się, że te historyczne konotacje pozwalają poecie na dotarcie do rdzenia rosyjskości, do poszukiwania jej ducha niezależnie od dolegliwych doświadczeń współczesności. W historii odnajduje Słowacki prawdziwego ducha Rosji – tego ducha, którego nie da się wypędzić czy ujarzmić knutem.

Słowacki stał po stronie tych, którzy wierząc w nieśmiertelną siłę ducha, wierzyli w przyszłe odrodzenie Rosji.

¹ *Трошинський М. Князь Михаил Тверской – русский аватар Словацкого // Юлиуш Словацкий и Россия / Под ред. В.А. Хорева и Н.М. Филатовой. М.: Индрик, 2011. С. 20–37. Пер. В. Хорева. – Ред.*

Галина Туркевич
(Вильнюс)

«Азбука» Чеслава Милоша: на пути к «более объемной форме»

Жанровая многогранность творчества Ч. Милоша (поэзия, эссеистика, роман) и его тематическая монолитность. Постоянный поиск «более объемной формы».

Эссеистические формы высказывания как дополняющий голос поэтического стремления «объять необъятное», «укротить» бренность бытия.

Место и значение «Азбуки» Милоша в контексте его творчества и родственных произведений польской литературы.

«Азбука» – по определению самого автора – это произведение «вместо романа» или же что-то на его «пограничье»¹. И вместе с тем «Азбука» – это прежде всего очередная из постоянно предпринимаемых писателем попытка уберечь от забвения то, что аутентично было им пережито, то, что составляет некоторые штрихи его собственной биографии или биографий познанных им людей. Одновременно складывается также многоликий исторически-ментальный образ эпохи.

Милош довольно рано осознал, что невозможно создать произведение, которое во всей полноте отражало бы сущность и богатство бытия. В течение всей сознательной жизни, обращаясь к разным жанрам, он пытался остановить мгновенье, превоплотить ускользающие факты в «вечный момент».

Как приверженец аутентичности, конкретной детали он запечатлел в своей «Азбуке» прежде всего множество имен, важных как в частном, так и более общем плане, как бы сохраняя существенный для его творчества и романного искусства принцип многоголосия. Полифоническое звучание «Азбуки» интенсифицируется фактом, что запечатленная в произведении действительность отражает различные культуры, ценности, иногда также эпохи.

Если «Азбука» является произведением «вместо романа», то, судя по числу содержащихся в ней статей, посвященных воспроизведению образов людей, перед нами – материал для многотомного романа-эпопеи, как принято, с главными и второстепенными героями.

Несложно подтвердить данный тезис, обращаясь также к эссеистическим статьям, посвященным характеристике важных или просто запомнившихся писателю местностей. Среди них – и главные «сады» жизни писателя (литовское Шатейняй, Вильнюс, Варшава, а также французские, американские и др. города и местечки), и случайные, временные пристанища. Они могли бы создать пространство именно для большого эпического романа.

Время действия потенциально возможного романа – это, естественно, XX век с его жестокостью и одновременно «красой жизни», возможными ретроспективами в более или менее отдаленные эпохи. Писатель редко, казалось бы, обращается к непосредственной характеристике исторического фона, однако он часто присутствует при воспроизведении образа того или иного современника, что, в свою очередь, является главным «принципом приближения» истории в хорошо написанных литературных произведениях.

Помещенный в «Азбуке» материал дает возможность создания традиционной эпопеи с любовной интригой, привлекательными образами женщин, игрой положительных и негативных чувств, без чего обычный читатель не представляет себе романа.

Таким образом, склонность к аутентичности, отречение от построенного на фикации повествования, стремление уберечь от забвения уходящую в прошлое действительность привело Милоша к распространенной на рубеже XX–XXI в. «поэтике фрагмента», содержащей задатки как для развития романной фабулы, так и создания иных, неограниченных в своих возможностях, жанров.

¹ *Milosz Cz. Abecadlo. Kraków, 2010. S. 5.*

Светлана Фалькович
(Москва)

Польские «пророки» и «национальный дух» европейских революций 18480–1849 гг.

Романтики XIX в. нередко использовали термин «дух», придавая ему различное наполнение. Это слово употреблялось для характеристики наступившего нового времени, как, например, у К. Бродзиньского, который приветствовал «дух века». Для поэтов это слово нередко обозначало внутреннюю сущность человека, его душу: так, А.С. Пушкин писал о Мазепе, что «дух его неукротим». Как «душу» трактовал это слово и Ю. Словацкий, который спрашивал у матери, откуда она взяла его «дух». В то же время он писал о «духах», олицетворявших как силы природы, так и реальный быт человека. А у М.Ю. Лермонтова это слово служило для олицетворения бесплотного неземного существа, символизирующего определенное отвлеченное начало: Демон – «дух изгнания». Но чаще поэты придавали слову «дух» определение «национальный», писали о «духе народа». У того же Пушкина мы встречаем выражение: «Там русский дух, там Русью пахнет».

В польской поэзии такое понятие, как «национальный дух», встречается, быть может, чаще, чем у других народов, что вполне понятно и объяснимо: именно сила национального духа помогала полякам сохранять свою идентичность в условиях отсутствия национального государства, разделения национальной территории между тремя захватчиками и проводимой ими политики национального гнета. Польские поэты, и прежде всего поэты-«пророки» польского народа, своими стихами будили и подымали его дух, вливали в него силы для веры в возрождение Польши и для борьбы за это возрождение. Ю. Словацкий верил в посланничество «Королей-Духов», ведущих свой народ, и критиковал политику А. Чарторыского, формы которой были народному духу ненавистны и враждебны, а А. Мицкевич подчеркивал: «Польша должна стремиться только к живущей в ее лоне традиции, только к своему духу»¹.

Но личное участие поэтов-«пророков» в борьбе за возрождение Польши не исчерпывалось патриотическими при-

зывами, выраженными в поэтическом творчестве: они также непосредственно участвовали в польском национально-освободительном движении, которое на протяжении XIX в. не раз выливалось в вооруженные выступления. В этом отношении весьма характерна эпоха «Весны народов», когда Европу охватила революционный дух и два великих «пророка» польского народа ярко проявили себя в революционной борьбе. В 1848 г. в Княжестве Познанском развернулось широкое национальное движение, в котором участвовали народные массы, в том числе – крестьянство. Они были готовы сражаться, но шляхетское руководство восстания проявило нерешительность и пошло на соглашение с прусскими властями, в результате чего восстание было подавлено. Познанские патриоты, в числе которых был и Юлиуш Словацкий, тяжело переживали поражение, но, тем не менее, не теряли веры в будущее, ее питала сама атмосфера подъема национального духа. Эта вера нашла выражение в оптимистическом утверждении Словацкого: «дух наш не обладает еще той мощью, несгибаемой волей, которая лишь одна способна победить разрушительную силу старого греха и то огромное материальное превосходство наших властителей... Но еще не воскрешен Дух Божий – и вновь мы пали – до поры» ².

Воскресить «Дух Божий» – национальный дух – стремился и другой «пророк» польского народа, Адам Мицкевич. В годы революции 1848–1849 гг. он верил, что пора настала, и активно старался содействовать развернувшейся в ряде стран Европы революционной борьбе, направленной на свержение реакционных деспотических режимов, установление демократических порядков, сближение и объединение европейских народов. Мицкевич находился в контакте с революционными деятелями этих народов – в том числе с чехом Мейзингером, итальянцем Н. Томмазо, югославским поэтом из Далмации Пугичем и др. ³. Он видел необходимость наладить сотрудничество революционеров разных стран и призывал к этому со страниц газеты «La Tribune des Peuples» («Трибуна народов»), которую издавал вместе с представителями других революционных народов. Призывая патриотов разной национальности к согласию, Мицкевич выдвигал демократические лозунги свободы, равенства, братства, но

указывал, что достичь этого народы смогут только в решительной борьбе против национального насилия и монархического гнета. В лице монархии Габсбургов он видел врага и угнетателя не только поляков, но и других народов, и потому требовал от поляков поддержать борьбу итальянцев против австрийской власти, «самоотверженно отстаивать итальянскую независимость». Мицкевич подчеркивал, что тем самым они будут «действительно полезны... будущим интересам» польского народа. «Служа Италии, – писал он, – поляки содействуют приближению освобождения Польши; способствуя распаду Австрийской империи, они помогают освободить 5 млн. поляков – ее подданных. Они предоставляют также возможность примыкающим к Италии славянским провинциям – Илирии, Далмации, Хорватии – проявить на деле свои национальные устремления». Мицкевич считал, что Далмация могла бы восстать, если бы Франция ввела туда свои войска, и предлагал французскому правительству это сделать. Он предлагал также славянам сформировать собственный легион для борьбы против Австрии, и такая перспектива настолько испугала Вену, что она срочно вывела славянские войска из Ломбардии, где они располагались и могли подвергнуться польскому влиянию, воодушевиться национальными идеями, распространявшимися поляками⁴.

Идеи, пропагандировавшиеся Мицкевичем и другими представителями революционного и демократического крыла польского национально-освободительного движения, отвечали их стремлениям к единению славянских народов. В романтической поэзии «Весны Народов» получили распространение такие образы, как «славянский Бог свободы», «славянский орел и лев», а Словацкий писал о «славянском духе» и воспевал мечту о «славянском папе»⁵. Стремление к сплочению славянского мира нашло также отражение в политической концепции Мицкевича, которая предполагала инициативу поляков в деле объединения славянских и других свободлюбивых народов под знаменем демократии и прогресса. Одной из конкретных целей была важнейшая задача объединения славян с венграми и итальянцами для разгрома Австрийской империи и создания на пространстве между Балтикой, Адриатикой и Черным морем «федерации свободных

обществ, живущих на принципах подлинной демократии»⁶. Эта программа в корне отличалась от идей царского панславизма, смертельным врагом которого были поляки. Она отличалась и от тех славянских концепций, которые создавались в лагере польской аристократической эмиграции. Политики Отеля Лямбер (Hotel Lamber), хотя и объявляли «принцип национальности» основополагающим, хотя и декларировали, что «австрийское правительство – враг всех славян от века», тем не менее, не отказывались от проектов, предусматривавших суверенитет Австрии или Турции над славянскими народами. К национальному движению славян они подходили чисто прагматически, стремясь извлечь из него «большие выгоды» для польского дела, а к самим славянам, которых называли «братьями», относились лишь как к «прекрасному инструменту», пренебрежительно указывая, что «благородством и искренностью» они «не обладают», а свою национальность «ценят много выше, чем либеральные реформы и принципы». Поэтому позиция Отеля Лямбер в славянском вопросе во многом носила гегемонистский характер: поскольку полякам предназначалась особая роль в славянском мире, они должны были «завладеть» другими славянами, «полонизировать» славянское движение, «дать этому славянскому тельцу польскую душу»⁷. Целью «полонизации» было, прежде всего, воспрепятствовать влиянию русского панславизма. Как утверждал М. Чайковский (Садък-паша), «славянщина без Польши, имеющей большинство в ее лоне, является прирожденным врагом Запада». Существовала и иная цель «полонизации» славян: по планам консервативных политиков, поляки должны были «иметь в австрийском балансе большой вес, чем все другие славянские народы вместе взятые», то есть имелся в виду все тот же вариант существования славян в составе и под верховенством империи Габсбургов⁸.

Подобные установки не имели ничего общего с идеями и лозунгами, провозглашавшимися Мицкевичем и польскими патриотами демократического толка. Если Отель Лямбер посылал поляков в ряды борющихся славян и других народов для того, чтобы их «полонизировать», то польские демократы шли в их ряды, чтобы поддержать борьбу этих народов, и движение польских волонтеров было столь массовым, что,

например, в Галиции венгерское восстание получило название «польской войны»⁹, однако, это означало не «полонизацию» венгерского движения, а осознание поляками того факта, что борьба в Венгрии служит также делу свободы Польши. Поляки формировали и отдельные легионы. Так, в Венгрии польский легион под командой генерала Ю. Высоцкого насчитывал 3 тыс. человек¹⁰. Поскольку в это время проходили восстания в отдельных немецких государствах, на повестку дня вставал вопрос и о создании объединенной Германии на демократической республиканской основе «снизу», революционным путем. Мицкевич видел возможность объединения Германии в качестве «народной империи» и рассуждал о пользе этого варианта развития революции для всей Европы¹¹. Поляки приняли непосредственное участие в германских восстаниях, польские легионы сражались в Дрездене, Бадене и Палатинате. Активно действовали они на Сицилии и в Италии, причем здесь важную роль сыграла позиция Мицкевича. Когда 29 марта 1848 г. Временное миланское правительство выступило с обращением к полякам, призывая их поддержать восстание итальянского народа, по инициативе Мицкевича было провозглашено создание польского легиона; он был сформирован очень быстро и уже 1 мая вступил в Милан. Мицкевич подчеркнул значение этого факта: по его словам, он означал, что две нации, которых тирания вычеркнула из жизни, «взялись за руки и поклялись в возрождении народов»¹². Эту идею нес легион Мицкевича, сражавшийся в Ломбардии, и другие польские легионы, действовавшие в Пьемонте, Тоскане, Генуе, Венеции, а в апреле 1849 г., уже на излете революции, защищавшие Римскую республику.

Революция 1848–1849 гг. окончилась поражением, но «революционный дух», овладевший народами Европы, не исчез бесследно: он способствовал развитию национального самосознания, укреплению «национального духа» каждого из них. И в этот процесс роста революционных национальных сил внесли непосредственный вклад величайшие поэты-«пророки» польского народа Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий.

¹ *Mickiewicz A. Dzieła.* Warszawa, 1955. T.XI. S. 90.

- ² Цит. по: *Zakszewski B.* Wiosna Ludów w polskiej poezji romantycznej // *Literatura polityczna okresu Wiosny Ludów w Austrii, Niemczech, Polsce.* Wrocław, 1986. S. 29–30. См. также: О powstaniu wielkopolskim 1848. Warszawa, 1952. S. 116–117, 122, 124.
- ³ См.: *Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и идеологии.* М., 2001. С. 261.
- ⁴ См.: *Batowski H.* Stosunki wzajemne Polaków i innych Słowian w dobie «Wiosny Ludów» // *Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu historyków polskich we Wrocławiu 19–22 września 1948.* Warszawa, 1948. T. 1. S. 308–310.
- ⁵ *Zakszewski B.* Op. cit. S. 31–32.
- ⁶ *Batowski H.* Op. cit. S. 308–310. См. также: *Европейские революции.* С. 261.
- ⁷ *Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (далее: BCzart).* 5387 III. K. 64, 150, 165, 201. См. также: *Европейские революции.* С. 267–268, 275–276.
- ⁸ *BCzart.* 5387 III. K. 157, 191. См. также: *Европейские революции.* С. 268.
- ⁹ *Европейские революции.* С. 262.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ Там же. С. 263–264.
- ¹² Там же. С. 262–263.

Наталья Филатова
(Москва)

Образ России в польской пропагандистской литературе 1812 г.

В последние годы В.А. Хоревым и объединившимся вокруг него коллективом исследователей успешно развивается имагологическое направление интерпретации взаимодействия польской и русской культур – т. е. происхождение, структура и функции национальных образов, мифов и стереотипов, бытующих в текстах культуры. К достижениям ученого в этой области относится монография «Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки» (М., 2005), «Восприятие России и русской литературы польскими писателями. Очерки» (в печати), а также серия работ по проекту «Россия – Польша: взаимное видение в литературе и культуре», в которых В.А. Хорев выступает в качестве автора и ответственного редактора («Поляки и русские в глазах друг друга», 2000; «Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре», 2002; «Миф Европы в литературе и культуре России и Польши», 2004; «Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура», 2006; «Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре», 2007; «Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой», 2008; «Русская культура в польском сознании», 2009; «Юлиуш Словацкий и Россия», 2011; «Отзвуки Шопена в русской культуре», 2012).

Очевидно, что веками, особенно явственно способствовавшими нарастанию негативных черт в образе соседа, были вооруженные столкновения двух народов (Смутное время начала XVII в., восстание под руководством Т. Костюшко, польские национально-освободительные восстания XIX в. и т. д.). Примером значимого польско-русского столкновения были и военные действия 1812 г., место которых в польской исторической памяти трудно оценить однозначно.

С одной стороны, некоторые исследователи называют участие Польского войска в войне 1812 г. в составе Великой армии Наполеона «русско-польской войной». Это находит отражение и в численности польских войск, выступивших против России (в июне 1812 г. в армии императора Наполеона

под ружьем находилось 83,5 тыс. польских солдат, из них около 37 тыс. вошли в состав знаменитого Пятого армейского корпуса под командованием Юзефа Понятовского)¹, и в риторике эпохи: «второй польской войной», призванной положить конец губительному влиянию Москвы на интересы Европы, был назван поход на Россию в воззвании Наполеона, обращенном к полякам². Самими поляками война воспринималась как освободительная – направленная на воссоединение с землями бывшей Речи Посполитой, вошедшими после разделов в состав Российской империи. С другой стороны – нельзя забывать и о поляках на российской службе, что не воспринималось подданными Княжества Варшавского как измена, ибо в ходу были иные представления о политической лояльности, складывающиеся не только из приверженности национальной идее, но и из верности присяге, престолу и т. п.

Соответственно строилась и официальная пропаганда Княжества Варшавского во время войны. Речи на заседании Сейма, в июне 1812 г. провозгласившего создание Генеральной Конфедерации (особо следует отметить речь министра финансов Т. Матушевича), иные материалы, публиковавшиеся на страницах правительственных газет (и отдельными изданиями) в ходе кампании 1812 г., в том числе отрывки из антирусских «Литовских писем» Ю.У. Немцевича³, патриотические стихи К. Тымовского, Э. Словацкого, Ю.У. Немцевича, Ф. Венжика, Ф. Скарбека, Э. Янишовского формировали образ России – исторического противника Польши. Показывая связь исторических бед Польши с Россией, авторы подчеркивали враждебность России Европе и опасность ее экспансии. Польша же мыслилась включенною в европейскую орбиту, причем обыгрывалась характерная для польского исторического сознания идея Польши как бастиона Европы перед нашествием варваров. В стихах антирусской направленности встречались образы, которые впоследствии будут широко использоваться в поэзии национально-освободительного восстания 1830–1831 гг.: это приметы рабства и дикости – оковы и кнуты, описание России как страны постоянного холода, морозов, снега и льдов, а также мотив борьбы русского и польского национальных символов – черного и белого орлов. Часто встре-

чались исторические реминисценции, в особенности упоминания о кровавом взятии Праги Суворовым.

Однако отличием пропагандистской литературы 1812 г. от позднейших произведений антироссийской направленности, связанных с освободительной борьбой польского народа в XIX в., является то, что в 1810-е гг. векторы пропаганды еще могли меняться. Ее эмоциональный посыл позволяет утверждать, что речь идет не столько об устойчивом «образе врага», сколько о сиюминутном противнике на поле боя, равенство, а порой и превосходство которого неоднократно признается. Неслучайно риторика 1812 г. позволила уже в 1814–1815 гг., не меняясь по форме, лишь заменить имя Наполеона на имя Александра I, также называемого «воскресителем народа». А. Горецкий в стихотворении «Дума о генерале Грабовском, павшем под Смоленском 17 августа 1812 г.», которое было напечатано в Варшаве в 1814 г., называет Александра I посланцем неба и «Ангелом – властителем Севера», связывая с ним надежды на возрождение Польши⁴. Уважение к противнику просматривается и на уровне эгзотекстов эпохи, свидетельствующих о субъективном восприятии русских польскими участниками сражений⁵.

Следующие после поражения Наполеона годы были ознаменованы созданием Королевства Польского под эгидой России. Из цензурных соображений упоминание об исторических столкновениях России и Польши не приветствовалось. Однако замалчивание, в том числе поэтами – участниками событий, такими как К. Бродзинский, А. Мальчевский, А. Фредро, эпопеи 1812 г. было вызвано и другими причинами. Конечно, можно найти среди публикаций произведения на тему войны 1812 г. (например, стихотворение «Солдат на берегу Москвы-реки в 1812 г.» К. Бродзинского). Однако их отличительной чертой является лишь трагическое мировосприятие. В целом же российская кампания Наполеона (в отличие от иных сражений, в которых принимали участие его польские легионы) мало отразилась в литературе последующих лет. Это было связано с мрачным впечатлением, которое она произвела на «поколение катастрофы 1812 г.»⁶. Поражение Наполеона повлекло за собой экзистенциальный кризис – крах надежд на усиление влияния Польши в Европе и на

восстановление ее исторических границ, пессимистические настроения по отношению к истории.

В то же время исторический опыт 1812 г., в том числе сопутствовавшая войне антирусская риторика, несомненно отложились в пассиве исторической памяти поляков, ибо легко извлекались оттуда всякий раз, когда требовалось создать отрицательный образ России.

¹ *Неуважный А., Васильев А.А.* Польские войска Великой армии // Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М., 2004. С. 579.

² *Gazeta Warszawska.* 27.06.1812. Dod. do nr. 51. S. 898.

³ Опубликовано отдельным изданием: *Niemcewicz J.U.* Listy litewskie. Warszawa, 1812.

⁴ *Ulotna poezja patriotyczna wojen napoleońskich (1805–1814)* / Oprac. A. Zieliński. Wrocław, 1977. S. 17–18.

⁵ *Nieuważny A.* Moskale w oczach Lachów // *Mówią wieki.* Kampania rosyjska Napoleona. Ów rok 1812. S. 96–99.

⁶ *Zawadzka D.* Pokolenie klęski 1812 roku. Warszawa, 2000. S. 101.

Борис Флоря
(Москва)

Представления о появлении монархии и её исторической роли в польской средневековой традиции

В написанной на исходе раннего Средневековья хронике Винцента Кадлубка создание монархической власти выступало как важнейшее, переломное событие в судьбах польского общества. Именно с избранием монарха – Крака – создаётся общественный порядок, основанный на праве и справедливости. Когда по каким-либо причинам институт монархической власти исчезал, наступало «слабое правление» и упадок общества.

Существенно иную картину мы находим в историческом труде, принявшем окончательный вид на полтора столетия позднее – Великопольской хронике.

Историческое повествование здесь начиналось с рассказа о том, что предки поляков – лехиты, поселившись на новой родине, избрали из своей среды 12 мужей, которые решали все возникавшие споры и «правили государством», а избрание монарха – Крака было связано с тем, что, боясь нападения галлов, его избрали главой войска, а когда он одержал победу, его провозгласили королем. Однако после смерти Крака и его наследницы – дочери Ванды обществом снова долгое время управляли 12 мужей. Новый монарх – Лестко был выбран после того, как благодаря ему была одержана победа над войском Александра Македонского. Таким образом, с монархией не связываются какие-либо общественные преобразования, она оказывается необходима лишь для того, чтобы дать отпор внешней опасности.

Обе эти хроники были хорошо известны Яну Длугошу, когда он приступил в середине пятнадцатого столетия к написанию своих «Анналов».

В отличие от своих предшественников Длугош утверждает, что с самого начала у лехитов существовала княжеская власть. Уже первый предводитель поляков – Лех – был князем, а позднее лехитами правили его потомки. Однако это монархическое правление получило у Длугоша самую отрицательную оценку. В этом обществе не было законов, их заменяли решения князей, которые руководствовались лишь своими желаниями, без

всякого основания лишали подданных имущества и жизни. Поэтому по пресечении династии Леха лехиты решили не избирать правителя. После этого они установили законы и избрали 12 мужей для управления обществом. Правление теперь было основано «на свободе и законах», но неразумный народ, опьяненный равенством и свободой, не желал подчиняться избранным им правителям. В этих условиях Крак был избран правителем, но это не означало какого-либо качественного рубежа в развитии общества, законы были созданы уже ранее.

После смерти Крака и его дочери снова установилось правление 12 мужей и продолжалось многие годы. Именно это правление обеспечивало обществу условия, при которых «постоянно расцветала жизнь частная и публичная». Однако неразумие народа снова привело к возникновению монархии. На этот раз государство стало более устойчивым, так как наряду с институтом монархической власти продолжал сохраняться созданный самим обществом институт 12 мужей.

Сопоставляя между собой свидетельства трех источников разного времени, можно отметить, что представление о возникновении монархии и её исторической роли на протяжении рассматриваемого периода заметно изменилось. Если на исходе раннего Средневековья монархия выступала, как единственная сила способная организовать справедливый общественный порядок, то позднее её достоинство заключалось, прежде всего, в том, что она может организовать оборону от внешней опасности, а еще позднее речь идет уже о том, что монархия сама по себе не может организовать справедливый общественный порядок, возникает благодаря неразумию народа, она оказывается успешной лишь при сосуществовании с органами, созданными самим обществом.

Анна Хорошкевич
(Москва)

Российское, советское и постсоветское эхо сарматской теории

Становление отечественной исторической науки (именно науки, а не историописания) приходится на середину XVIII столетия и связано с деятельностью таких выдающихся личностей как русский М.В. Ломоносов и немец Г.Ф. Миллер, двух патриотов России, правда, разного этнического, социального происхождения и профессионального образования.

Главным вопросом для каждого из них была проблема, волновавшая еще летописцев XI в., – «откуда есть пошла земля Русская». И решали они ее по-разному – в зависимости от профессиональной подготовки. Выученик Славяно-греко-латинской академии, где преподавали выходцы из Речи Посполитой, М.В. Ломоносов отвечал на нее в соответствии с польско-литовской традицией. Она сложилась еще в XV в. на фоне политического противостояния трех соседних государств – Московского Княжества, в 1495-1547 гг. Княжества всея Руси и объединенных личной унией Великого княжества Литовского и Польского королевства. Соседи на протяжении XV–XVIII вв. воевали за земли Древней (Киевской, Домонгольской Руси), которые в XIV–XV вв. после монгольского нашествия вошли в состав двух более западных государств. Поскольку в античные времена знали лишь два народа Восточной Европы – скифов и сарматов, то польские хронисты искали своих предков в сарматах (по современным данным – ираноязычном населении восточноевропейских степей IV в. до н. э. – IV в. н. э.), победителях скифов (тоже ираноязычного населения юга Восточной Европы и Сибири), которых считали предками восточных славян.

Сарматская теория, зафиксированная многочисленными хронистами XV–XVII столетий, была своеобразной формой освоения античного наследия в эпоху Возрождения. Во время освободительной войны Богдана Хмельницкого в 50-х начале 70-х годов XVII в. был создан компилятивный Синописис 1674–1680 гг.¹, автором или редактором которого был назначенный в 1647 г. митрополитом Петром Могилой «благотетель и

попечитель киевских школ», с 1656 г. архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель. Наряду с сарматской теорией польских хронистов он использовал русские летописи, в которых речь шла о двух древнейших народах на территории России XVIII в. – руси и чуди, хотя «самодержавие» России, по терминологии Гизеля, образовали варяги.

Современные Ломоносову историки России подобно польско-литовским хронистам пытались отождествить летописную чудь и русь с одним из кочевых племен, известных в античные времена. Г.З. Байер (1694–1738) выбрал в потомки скифов чудь. Эту мысль в Кратком российском летописце 1760 г. поддержал и Ломоносов, всех многочисленных славян отнес к сарматам ². «Славяне и чудь по нашим, сарматы и скифы по внешним писателям были древние обитатели в России. Единородство славян с сарматами (по Ломоносову-АХ), чуди со скифами (по Байеру) для многих ясных доказательств неспоримо», писал Ломоносов в 1760 г.

Вопрос о корнях самодержавия стал предметом острых споров, не утихающих доньше. Русский подданный с 1747 г. Г.Ф. Миллер принял версию древнейшей Повести временных лет, которая позднее стала именоваться норманской теорией. Согласно его мнению, изложенному в тексте «диссертации» 1749 г., летописные варяги были шведами, которые у его современников естественно ассоциировались с жителями Шведского королевства XVIII в.

Однако профессор химии М.В. Ломоносов, задетый за живое в своей безграничной и страстной любви к России ³ мнением «начинающего» ученого, бросился опровергать «варяжскую» теорию ⁴ на основе хорошо знакомого ему «Синописа» Иннокентия Гизеля 1674–1680 гг. ⁵. Спор сторонников разных концепций восточнославянского этногенеза в 1749–1750 гг. сосредоточивался вокруг оценки роли варягов, эта же тема доминировала и продолжает доминировать в позднейших историографических сочинениях, посвященных проблеме становления исторической науки. На славянстве «ассимилировавшихся» среди славян прибалтийских варягов, по Ломоносову «варягов славенского колена» или «варягороссов», которые во главе с Рюриком жили между Вислой и Двиной, настаивали не только в конце XIX в. (Д.И. Иловай-

ский), но и два столетия спустя после первого диспута на эту тему – уже при так называемом «социализме» борцы с «космополитизмом» конца 40-х – начала 50-х годов XX в. Этого же упорно придерживаются их наследники, как патриоты «постсоветского образца» (типа В.В. Фомина), заполонившие интернет, так и авторы школьных учебников – от А.Г. Кузьмина до В.И. Буганова – А.Н. Сахарова и многие другие, им же несть числа ⁶.

Не менее важны «положительные» стороны гизелевско-ломоносовской интерпретации сарматского мифа. Одна из них – это возведение русских к роксоланам (ираноязычным кочевым племенам Сев. Причерноморья первой половины I тыс. н.э) ⁷. Роксоланы, обитавшие между Днепром и Доном, согласно концепции Ломоносова 1749 и 1760 гг. вместе с готами передвинулись на Балтику. Роль роксолан в государствообразующем процессе под давлением российских академиков вынужден был признать Миллер при публикации своей речи 1749 г. спустя 10 лет.

Наука же XX в. с трудом отказывалась от столь почтенных предков. Уважаемые (некоторыми и до сих пор) археологи академик Б.А. Рыбаков и член-корр. АН СССР П.Н. Третьяков долго отстаивали идею родства славян с антами (по современным представлениям – полиэтничной черняховской культуре на основе ираноязычных скифов и сарматов), частью которых считались роксоланы. Теперь их эстафету приняла часть украинских археологов, поскольку их страна вступила в период созидания «государствообразующих» мифов.

Стремление удревнить время формирования славянства, от которого не избавлено бытовое представление рядовых людей о величии своего народа, было свойственно и историкам XVIII в. Хотя тот же Ломоносов отмечает, что слава славянского племени во всех его ипостасях возникла лишь в VI в. н.э., он в 1760 г. не остановился перед отнесением Трои к владениям славянского короля Пилимена и пересказу – вслед за Гизелем привилегии славянам Александра Македонского (III в. до н. э.). От этих утверждений российская наука, даже современная, отказалась.

Зато до сих пор жива «положительная» и «жизнеутверждающая» сторона гизелевско-ломоносовского мифа – культ славянской «боевитости». Так, Гизель само имя славян возводит к воинской славе, он восхваляет Ивана Грозного за «притяжение» Казанского и Астраханского ханств, а царя Алексея Михайловича за возвращение России Киева и мечтает о расширении государственной территории в идеале – до пределов вселенной, но прежде всего «большой и изящнейшей» Азии, где Бог устроил рай, где родился Христос⁸. Ломоносов же экстраполирует эту идею на Петра Великого и цариц своего времени) и пророчит будущему императору Павлу I, надеясь на его «дух военный»: «Откроешь россам путь кругом земного шара, Поставишь всем странам недвижимый закон...».

Идея славянской боевитости донныне преваляется в бытовом сознании россиян, воспитываемых в интернете, где «основной задачей русских-российских историков» выдвигается история славных военных побед («Восстановление великой и правдивой истории великого боевого и непобедимого русского народа». См.: <http://htfi.org/7p=596>).

Ученые нашего времени по сравнению со своими далекими предшественниками находятся в выгодном положении, в их распоряжении помимо летописей и античных письменных источников убедительный археологический материал и хорошо изученные скандинавские саги, они владеют самыми разными методиками исторического исследования. Разумеется, к их коллегам XVIII в., до Г.Ф. Миллера слыхом не слыхавшим о методике исторического исследования⁹ и воодушевленным идеей прославления Отечества, которое срочно нужно было освобождать «от презрения» (что якобы и сделал Петр Первый), предъявлять претензий в отличие от наших современных мифовозродителей¹⁰ нельзя. Однако современник Ломоносова – по праву слывший «защитником истины, гонителем, бичом пороков» – А.П. Сумароков имел отличное мнение и спустя 8 лет после выхода ломоносовского Краткого российского летописца писал: «...во всякой Истории надлежит писать истину; дабы человеки научались от худа отвращаться и к добру прицепляться. Историк не праведно хулы и хвалы своему соплетающий отечеству, есть враг отечества своего; и бывшее худо и бывшее добро общему на-

ставлению и общему благоденствию служит. Не полезно вымышленное повествование, о ком бы оно ни было. И вредоносна ложная История тому народу, о котором она: ежели она тем народом допущена или не опровержена, к ослеплению читателей»¹¹.

Это отчасти относится и к оригинальной сарматской теории, способствовавшей формированию менталитета польской шляхты и, позднее, народа с его идеалом «кичливого ляха» (А.С. Пушкин), и полностью к российско-советско-постсоветской (как и украинско-постсоветской) его версии – источнику национальной, доньше во многом мифологической идеологии россиян и украинцев. Замешанная на неразумно страстной любви к отечеству, история внедрения в сознание соотечественников патриотических мифов не только парадоксальна (заимствование мифа у противоборствующей стороны), но и горестно поучительно, она схожа с глупой системой воспитания детей, родительскими заботами освобожденных от собственного разума и воли. Их – как детей, так и народов, воспитанных историками, потерявшими чувство ответственности за духовное здоровье соотечественников и способствовавшими некритическому усвоению мифов, участь плачевна. В этом наши современники XXI в. убеждаются сами.

¹ *Пештич С.А.* Синописис как исторический источник // ТОДРА ИРА.1958. Т. XV С. 284–298. (Ср.: *Формозов А.А.* Классическая русская литература и историческая наука. М., Радикс, 1995. С. 19–28).

² «Величество славянского народа» составили Россия, Польша, Богемия, Болгария, Сербия и др. (*Ломоносов М.В.* Полное собрание сочинений. Т. 6. М., 1952. С. 27, 293).

³ «На всем протяжении жизни Ломоносовым владела пламенная страсть, которую можно выразить в одном слове — Россия. Она подвигла его ввязаться в драку с Миллером и серьезно заняться изучением российской истории...» (*Володина Т.А.* У истоков «национальной идеи» в русской историографии // ВИ. 2000. №№ 11–12. С. 18).

⁴ Подобную позицию В.О. Ключевский считал «симптомом общественной аномалии» (*Ключевский В.О.* Наброски по варяжскому вопросу // *Ключевский В.О.* Неопубликованные произведения / Отв. ред. М.В. Нечкина. М., 1983. С. 113).

- ⁵ Смысл и направленность «Синописа» большинство авторов видело в закреплении «соединения Малороссии с Российской державой в 1654 г. на основе исторической идеи единства Руси (И.И. Лаппо), в содействии освобождению Украины от Речи Посполитой (А.И. Миллер). В современной украинской эмигрантской литературе акцент, однако, делается на формировании собственной украинской идентичности (отец З. Когут). А ныне российские генеалоги обнаруживают в Синописе стремление – «мечту» украинцев к единению с Россией (*Сапожников О.Я., Сапожникова И.Ю. Мечта о русском единстве. Киевский синопис (1674) // Русская общественно-политическая мысль XVI–XVII вв. Взгляд из Киева и Москвы. М., Европа 2004*), не замечая главной и рациональной заботы автора или редактора о сохранении Киева и его святынь в катастрофах «освободительных войн».
- ⁶ Подробнее см.: *Маловичко С.И. Дух «Синописа» в историческом учебном дискурсе [www/newlocalhistory.com/node/39](http://newlocalhistory.com/node/39)*.
- ⁷ *Седов В.В. Этногенез ранних славян // Вестник РАН. 2003. Т. 73. № 7. С. 594–605*
- ⁸ *Русина Е.В. Трипольский синдром: Украина в зеркале «правильной» истории // Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. М., 2011.*
- ⁹ *Маловичко С.И. М.В. Ломоносов и Г.Ф. Миллер: спор разных историографических культур // Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 4. Київ, 2009. С. 231–249.*
- ¹⁰ *Мельникова Е.А. Ренессанс средневековья? Размышления о мифотворчестве в современной исторической науке // Родина. 2009. № 3*
- ¹¹ [*Сумароков А.П.*] Первый и главный стрелецкий бунт. Бывший в Москве в 1682 году в месяце майи. СПб., 1768. С. 48. (цит. по: *Маловичко 2009*).

Ольга Цыбенко
(Москва)

Поэма Адама Мицкевича

«Конрад Валленрод» в интерпретации В. Ходасевича (к эволюции восприятия этой поэмы в России)

Популярность в русском обществе великих польских романтиков – А. Мицкевича, Ю. Словацкого, З. Красиньского – достигла своего пика на рубеже XIX–XX вв. Их наследие было близко творческим исканиям К. Бальмонта, И. Бунина, Д. Мережковского, З. Гиппиус, В. Иванова, М. Цветаевой, В. Ходасевича, И. Северянина и др. Переводы польских романтиков, научно-критическое освоение их произведений, интерпретация их идей, образов, символики обогатили родственную литературу, способствовали русско-польскому сближению. Став беженцами после революции 1917 г., многие русские поэты находили переключку между своим изгнанием и судьбой великих польских эмигрантов-романтиков, что привело к созданию новых значительных произведений в разных жанрах – лирических, философско-публицистических, в художественной прозе.

Об этой переключке идет речь в статье Ходасевича «Литература в изгнании» (1933): «История знает ряд случаев, когда именно в эмиграциях создавались произведения не только прекрасные сами по себе, но и послужившие завязью для дальнейшего роста национальных литератур. Таково прежде всего величайшее из созданий мировой поэзии, создание поистине боговдохновенное – я говорю, разумеется, о «Божественной комедии»... Такова вся классическая польская литература, созданная эмигрантами – Мицкевичем, Словацким и Красинским».

Ходасевич, живя в Париже, посвятил произведениям Мицкевича две критические работы, опубликованные в газете «Возрождение»: «Конрад Валленрод». 1827–1927» и «К столетию «Пана Тадеуша». Оценка русским поэтом поэмы «Пан Тадеуш» несколько субъективна. Он выше ставил «Конрада Валленрода», «Дзяды», «Книги польского народа и польского пилигримства» – как произведения более идейно насыщенные.

Анализ Ходасевичем «Конрада Валленрода» – особый этап в эволюции восприятия этой поэмы в России. Она уже в XIX в. обросла обширными комментариями, критическими оценками, оправдывающими явление «валленродизма» или осуждающими его, причем как в русском общественном мнении, так и в польском.

Краткий очерк этих споров дает сам Ходасевич в своей статье. В Петербурге журнал «Телеграф» вскоре после публикации поэмы назвал Мицкевича первым поэтом не только в Польше, но и в Европе. Смысл этого произведения долго не открывался русской критике. Зато в Польше сразу поняли ее антироссийскую направленность. Ходасевич предлагает оставить в стороне «спор славян между собою» – истинно мучительный для обеих сторон, и попробовать рассмотреть чистый пафос патриотизма и политического коварства.

Патриотизм как основной двигатель поэмы, справедливо считает Ходасевич, не мог и не может вызвать ни в ком возражений или упреков. Тут правота Мицкевича неоспорима. Но воспетый им в лице Валленрода принцип предательства и коварства вызвал осуждение.

Русский поэт много внимания уделил образу Альдоны. Она не только жена Конрада, но и его Прекрасная Дама, его Психея, «большая часть» его самого. Альдона стареет, замуванная в своей башне, и это означает, что омрачается его совесть, пятнается его чистота, ветшает его душа. Поэму, озаглавленную «Конрад Валленрод», Мицкевич завершает словами, которые могут показаться неожиданными: «Такова моя песнь о судьбе Альдоны». Альдоны – а не Конрада. Ходасевич приходит к выводу, что политическая история Конрада Валленрода – лишь один уровень поэмы. На другом, не менее важном, – это история Альдоны, души, омраченной преступлением.

Конрад политически оправдан Мицкевичем, но индивидуально он гибнет. Гибель эта не окончательная: на последнем суде он оправдан, в небесах он вновь встречает Альдону. Таким образом, резюмирует Ходасевич, мысль Мицкевича совершает полный оборот: от политического восхваления Валленрода, через осознание его нравственного падения, до последнего оправдания за то, что он самую душу свою погубил во имя родины. На большой глубине поэмы скрыта вся правда о Валленроде. В Мицкевиче – политическом деятеле – русский поэт видит героя поэмы. Пример Мицкевича, по мнению Ходасевича, трагичен и прекрасен, он завещан отнюдь не только полякам.

Ходасевич, на наш взгляд, глубоко проанализировав идейно-художественное своеобразие поэмы, к тому же актуализировал ее содержание ввиду задач, стоявших перед русской эмиграцией, или миссии, как он ее понимал.

Светлана Шерлаимова
(Москва)

Некоторые сюжеты из истории чешско-польских литературных связей

Первый президент Чехословакии Томаш Гаррик Масарик, формулируя во время Первой мировой войны свое видение нового устройства Европы, писал о чешско-польских взаимоотношениях: «С древнейших времен эти связи были дружескими, были и недружественными, но они были всегда». Дружественными или недружественными бывали связи между странами Чехией и Польшей, что же касается связей между их литературами, то они всегда были достаточно прочными и дружественными – на пользу обеим сторонам.

В первой половине XIX века, в эпоху чешского национального возрождения, польская литература, наряду с английской и немецкой, оказала существенное влияние на формирование чешского романтизма. Исследователи констатируют воздействие Мицкевича и Словацкого на творчество основоположника чешской романтической поэзии, автора поэмы «Май» Карела Гинека Махи. Переводчик Гоголя, один из основоположников реализма в чешской литературе, замечательный поэт-сатирик Карел Гавличек-Боровский переводил в молодости эпиграммы Мицкеевича. «Дружественности» чешской и польской литератур способствовала и этнолингвистическая близость этих славянских народов. Т.Г. Масарик в своем концептуальном труде «Наш современный кризис» (1895) писал, что чешскому студенту нетрудно выучить польский язык, а даст это ему очень много: «В польской литературе гораздо больше пособий для образования, чем в нашей. Поляки делают много, и притом хороших, переводов, да и сами они создали немало хорошего и даже прекрасного как в науке, так и в поэзии».

В чешской литературе, прежде всего в силу специфики её развития, польское влияние больше сказывалось в области поэзии, чем в области прозы. Так, «сатанизм» Станислава Пшибышевского повлиял на раннее творчество будущего «пролетарского поэта» Станислава Костки Неймана, определив особое место в чешском символизме его сборника стихов «Слава сатаны среди нас» (1897). Нейман так рисует здесь свой автопортрет:

*Одинокий и гордый,
я войну объявил навсегда*

*скользким змеям, влачащим нечистые дни
в путанице ядовитых растений.
Поднял ненависть я как щит,
Жду удара.*

Перевод С. Кирсанова

В XX веке, особенно во второй его половине, можно говорить об усилении чешско-польских литературных связей и в области прозы. Возрастает число взаимных переводов и их качество. Надо специально отметить переводы чешской альтернативной литературы в 70–80-е гг., пусть, как правило, и «во втором круге обращения». Переводили Йозефа Шкворецкого, Богумила Грабала, Милана Кундеру. У себя на родине эти авторы находились под категорическим запретом, у нас не разрешалось упоминать их имена даже в критическом контексте. Поэтому я, например, благодаря польским друзьям впервые прочитала оперативно переведенную на польский «Невыносимую легкость бытия» Кундеру, находясь в командировке в Варшаве.

Особый сюжет – взаимоотношения чешских и польских писателей в эмиграции. Так, Кундера в Париже общался с Казимиром Брандысом, в своих эссе писал о поэзии Оскара Милоша, с симпатией относился к Чеславу Милошу. Он не был лично знаком с Витольдом Гомбровичем, который был на четверть века старше чешского романиста, но чрезвычайно высоко ценил его творчество, причисляя Гомбровича к самым выдающимся представителям литературы Центральной Европы наряду с Кафкой, Гашеком, Музилом и Брохом. Замечу, что в один ряд с Гомбровичем, Музилом и Брохом Мария Янион в книге «Проект фантазматической критики» ставит самого Кундеру. О популярности Кундеру в Польше можно судить по большому числу переводов его произведений на польский язык, по числу их изданий и переизданий, а также по многочисленным работам о его творчестве, принадлежащим не только специалистам – богемистам, но и литературоведам других специальностей. В 1986 г. в Катовицах состоялся, пусть и полулегально, симпозиум о творчестве Кундеру, материалы которого были изданы в Лондоне. С другой стороны, Кундера в своих теоретических и литературно – критических эссе, а также в некоторых из своих романов, писал о современных польских литераторах, главным образом о значении творчества Гомбровича для европейской литературы. Кундера полагает, что Гомбровича несправедливо недооцени-

вают, объясняя это тем, что тот писал исключительно по-польски – на «языке малой нации». По мнению Кундеры, новаторство первого романа Гомбровича «Фердидурке», вышедшего в свет в 1938 г., в один год с «Тошнотой» Сартра, не было понято именно из-за «малого языка», на котором «Фердидурке» написан и который мало знают в Европе. Он возражает против того, чтобы «загонять» Гомбровича в «малый национальный контекст», стремится доказать, что польский прозаик занимает важное место в мировой литературе – в этом «большом контексте».

«Дружественность» между чешской и польской литературами отнюдь не равнозначна взаимному восхвалению. Интерес к литературам соседних родственных славянских народов не обходится без полемики, подчас весьма острой. К примеру, Густав Херлинг-Грудзинский в своём «Дневнике, написанном ночью» убедительно спорит с Кундерой по поводу его критических суждений о Достоевском, но совершенно несправедливо, резко отрицательно, отзываясь о, на мой взгляд, серьёзном и глубоком кундеровском романе «Бессмертие».

Польская литература постоянно привлекает внимание чешских литературоведов. Классиком чешской полонистики можно назвать академика Карела Крейчи, который написал фундаментальную «Историю польской литературы» (1953). Его традиции продолжают современные чешские полонисты: К. Кардынь-Пеликанова, О. Бартош, П. Последний и др. Петр Последний издал специальную работу о чешско-польских литературных связях: «Границы диалога. Чешская проза глазами польской критики. 1945–1995» (1998). В послевоенной польской богемистике большие заслуги принадлежат Я. Магнушевскому, автору не только «Истории чешской литературы», но и специального исследования «Польско-чешские литературные взаимоотношения конца XIX – начала XX веков» (1951). Известны работы Я. Балуха о чешском поэтизме, его «Чешская литература 1945–1968» (1971), работы Г. Янашек-Иванчиковой («Карел Чапек или драма гуманиста», 1962 и др.), В. Навроцкого, к примеру, «Чешская и словацкая художественная литература в Польше» (в соавторстве с Т. Серным, 1983) и многие другие. Достаточно прочные и плодотворные связи между чешской и польской литературами, постоянное внимание к этой проблематике со стороны чешских и польских литературоведов обогащает обе стороны и вносит вклад в современную славистику как науку.

«Трудный рост» польской рецепции Н.С Лескова

«Трудный рост» – так определял свой литературный путь на склоне своей жизни «волшебник русского слова» Николай Лесков. И таким «трудным ростом» явилась в действительности его польская литературная рецепция, о «росте» которой до сих пор не появился ни один суммирующий труд. А ведь никто из русских классиков, кроме него, не посвятил столько места в своем творчестве Польше, полякам и полякам. Виновницей такого положения является современная ему русская критика, которая после публикации его так называемой пожарной статьи (1862) и полемического (в понятии левых и правых – антинигилистического) романа «Некуда» (1864), в котором между прочим с соболезнаванием изобразил он гибель польского повстанческого отряда в Беловежской пушце, долго пренебрегала его творчеством, а некоторые скороспелые наши критики, заслушав о его якобы «неукротимой злобе к Польше» и не вникая в содержание его произведений, почти единодушно провозгласили его «бессмысленным врагом всего польского». В результате не только при жизни, но и на протяжении почти полувека после смерти Лескова не переводились на польский язык его рассказы и повести (не говоря уже о романах), а только изредка передавались их поверхностные пересказы и время от времени печатались краткие сведения об их авторе.

И только в 1937 году поэт Юлиан Тувим, восхитившись колоритностью языка и мастерством орнаментальной формы, приобщил польской литературе в своем переводе известный лесковский шедевр «Левша (Сказ о тульском косом левше и стальной блохе)», снабдив его краткой хвалебной оценкой, а горячий поклонник автора этого сказа, Сергиуш Кулаковский, воспевал в своих статьях ему хвалу в межвоенной Польше.

Переломным моментом в польской рецепции Лескова стал 1950 год. Именно в этом году, кроме отдельно опубликованных нескольких рассказов, вышел первый том (в следующем году том второй) в новооснованном издании *Złota Seria Literatury Rosyjskiej*, включивший тринадцать избранных произведений Лескова в переводах Юлиана Тувима, Ежи Вышомирского, Ирены Байковской, Надзеи Друцкой и Александра Менчинского. Данному изданию

было предпослано *Вступление* Наталии Модзелевской, которое в сущности явилось первым серьезным очерком жизни и творчества Лескова в польской славистике и вместе с изданными произведениями открыло новый этап его польской рецепции.

Лариса Щавинская
(Москва)

Польская русская Илария Булгакова – летописец православия в Польше

Не подлежит сомнению, что Илария Михайловна Булгакова (1892–1982), двоюродная сестра писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940), принадлежала к числу самых близких ему людей. Дочь профессора Холмской духовной семинарии Михаила Ивановича Булгакова (1860–1937), она долгое время жила в Киеве в семье своего двоюродного брата и стала ее почти полноправным членом. В годы московской жизни Иларию Михайловну окружал тот же семейный круг холмских и киевских Булгаковых, не исключая и любимого ею брата-писателя.

Возвращение Иларии Михайловны в межвоенный польский Холм, спасение ею в 1944 г. одной из величайших христианских святынь – чудотворной иконы Холмской Богоматери XI в., регулярные молебны по скончавшемуся в Москве брату в православных церквах и монастырях Польши, крест в память о нем, установленный на Святой Горе Грабарке в 1977 г. – вот лишь некоторые моменты долгой и, в конце концов, почти монашеской жизни «кузины Лили».

Имени ее, увы, до сих пор не указывалось среди историографов польского православия, а, вместе с тем, Илария Михайловна Булгакова была не только его исследователем, но и настоящим монастырским летописцем в женской Марфо-Мариинской обители, что на крайнем юге современного Подляского воеводства. Она же едва ли не первой написала о ныне знаменитом грузинском святом о. Григории Перадзе (1899–1942), которого, видимо, лично знала. Главные же темы написанного Иларией Михайловной о православии в Польше: судьбы здешнего женского православного монашества, православные

паломничества, православная жизнь родного ее Холма и, прежде всего, история Холмской духовной семинарии.

В 1915 г. Холмская духовная семинария была эвакуирована в Москву. «Семинарское общежитие, – писала И.М. Булгакова, – находилось на I Мещанской улице в доме Перлова, а также в Доброслободском переулке. Семинаристы молились в древней (с 1682 года) церкви Св. Николая на Драчах, бывшей некогда церковью Драчевского монастыря. Воспитанники принимали участие в работах Красного Креста при перевозке и размещении раненых, совмещая это христианское дело с учебными занятиями. Часто в это время обязанности Ректора Семинарии исполнял один из старейших преподавателей М.И. Булгаков. В Москве состоялся конец учебного года в 1916/17 году, когда Семинарию окончило 14 человек; это был последний выпуск Холмской Духовной Семинарии в Москве, выпуск 39».

В своих работах Илария Михайловна цитировала и письма учеников горячо любимого ею отца, оказавшего на нее большое влияние: «Я ученик нашего любимого педагога и воспитателя М.И. Булгакова. Его любовь и трогательным отцовским вниманием и чуткостью я был обласкан в юношеские годы и память о нем живет в моем сердце. Я был одним из счастливых, кто присутствовал на прощальном обеде, на который пригласил нас Михаил Иванович. Это было в Москве на Селезневке в весенние дни 1917 года... В числе наших преподавателей было много достойных людей, но любимый был один, и это Михаил Иванович».

Tabula Gratulatoria

Войцех Зайончковский / Wojciech Zajaczkowski,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша
в Российской Федерации

Лариса Авакова (журнал «Славяноведение»)

Тамара Агапкина (Инслав РАН)

Татьяна Агапкина (Инслав РАН; издательство «Индрик»)

Николай Анастасьев (МГУ)

Анна Анелина (Инслав РАН)

Анатолий Аникеев (Инслав РАН)

Пётр Аркадьев (Инслав РАН)

Андрей Базилевский (ИМЛИ РАН)

Ежи В. Борејша / Jerzy W. Borejsza
(Институт истории ПАН)

Юрий Борисёнок (МГУ; журнал «Родина»)

Елена Валева (Инслав РАН)

Марина Валенцова (Инслав РАН)

Алексей Васильев (Российский Институт культурологии)

Кирилл Вах (издательство «Индрик»)

Казимеж Вацьковский / Kazimierz Waćkowski
(Постоянное представительство ПАН при РАН)

Ирина Веслова (журнал «Славяноведение»)

Людмила Виноградова (Инслав РАН)

Ивона Вишневская / Iwona Wiśniewska
(Институт литературных исследований ПАН)

Лидия Вишневская / Lidia Wiśniewska
(Университет Казимежа Великого, Быдгощ)

Мариуш Волос / Mariusz Wołos
(Педагогический университет в Кракове;
Институт истории ПАН)

Лариса Гвозд, переводчик
Ирина Герчикова (Инслав РАН)
Стефан Гжибовский / Stefan Grzybowski
(Университет им. Н. Коперника в Торунь)
Алексей Гипшиус (Инслав РАН)
Сергей Григоренко (издательство «Индрик»)
Ритта Гришина (Инслав РАН)
Александр Гутнин
(Полоцкий государственный университет)
Владимир Гудков (МГУ)
Александр Гура (Инслав РАН)
Маргарита Гурьева (Инслав РАН)
Светлана Данченко (Инслав РАН)
Регина Доронина (Инслав РАН)
Анатолий Журавлёв (Инслав РАН)
Зыгмунт Зёнтек / Zygmunt Ziątek
(Институт литературных исследований ПАН)
Наталия Злыднева (Инслав РАН)
Дмитрий Ивинский (МГУ)
Галина Ильина (Инслав РАН)
Александр Илюшин (МГУ)
Игорь Калиганов (Инслав РАН)
Александр Карасёв (Инслав РАН)
Леонид Кацис (РГГУ)
Зоя Карцева (МГУ)
Алина Ковальчикова / Alina Kowalczykova
(Институт литературных исследований ПАН)
Елена Ковтун (МГУ)
Анна Кузнецова (Инслав РАН)
Наталия Куренная (Инслав РАН)

Анна Косцёлэк / Anna Kościółek
(Университет им. Н. Коперника в Торуни)

Анджей де Лазари / Andrzej de Lazari
(Университет в Лодзи)

Александр Липатов (Инслав РАН)

Константин Лифанов (МГУ)

Наталия Лунькова (Инслав РАН)

Галина Макарова (Инслав РАН)

Пётр Марчиняк / Piotr Marciniak
(Генеральный консул Республики Польша
в Санкт-Петербурге)

Наталья Масленникова (МГУ)

Геннадий Матвеев (МГУ)

Алла Машкова (МГУ)

Георгий Мельников
(Инслав РАН;

Государственная академия
славянской культуры)

Сергей Мещеряков (МГУ)

Анна Миркес-Радзивон / Anna Mirkes-Radziwon
(Польский культурный центр)

Мария Михайлова (МГУ)

Галина Михеева (журнал «Славяноведение»)

Ольга Морозова (Инслав РАН)

Галина Мурашко (Инслав РАН)

Константин Никифоров (Инслав РАН)

Сергей Никольский (Инслав РАН)

Альбина Носкова (Инслав РАН)

Александр Орехов (Инслав РАН)

Нюрия Осипова (Инслав РАН)

Оксана Остапчук (Инслав РАН)

Войцех Павляк / Wojciech Pawlak
(Польская Национальная библиотека)
Наталия Пахсарьян (МГУ)
Владимир Петрухин (Инслав РАН)
Анна Плотникова (Инслав РАН)
Марек Понкчиньский / Marek Pąkciński
(Институт литературных исследований ПАН)
Елена Пономарёва (журнал «Славяноведение»)
Марек Радзивон / Marek Radziwon
(Польский культурный центр)
Марина Ремнёва (МГУ)
Ольга Ржанникова (МГУ)
Михаил Робинсон (Инслав РАН)
Хенрик Исидор Рогацкий / Henryk Izidor Rogacki
(Театральная Академия в Варшаве)
Януш Рогозиньский / Janusz Rohoziński
(Академия гуманитарных наук в Пултуске)
Ольга Розинская (МГУ)
Ирина Рубанова
(Государственный институт искусствознания)
Магдалена Рудковская / Magdalena Rudkowska
(Институт литературных исследований ПАН)
Шимон Рудницкий / Szymon Rudnicki
(Варшавский университет)
Адам Садовник / Adam Sadownik
(Советник Посольства Республики Польша в РФ)
Малгожата Семчук / Małgorzata Semczuk
(Варшавский университет)
Елена Серапионова (Инслав РАН)
Александр Сергеев (МГУ)
Веслава Скура / Wiesława Skóra, журналист, переводчик
Сергей Случ (Инслав РАН)

Марина Смольянинова (Инслав РАН)
Юлия Созина (Инслав РАН)
Миколай Соколовский / Mikołaj Sokołowski
(директор, Институт литературных исследований ПАН)
Наталия Соловьева (МГУ)
Ксения Старосельская
(журнал «Иностранная литература»)
Наталия Стахеева
(Издательство «Олимп-Бизнес»)
Александр Стыкалин (Инслав РАН)
Елена Тимонина (МГУ)
Татьяна Тихомирова (МГУ)
Василий Толмачев (МГУ)
Анатолий Турилов (Инслав РАН)
Галина Тыртова (МГУ)
Елена Узенёва (Инслав РАН)
Анастасия Усачёва (Инслав РАН)
Фёдор Успенский (Инслав РАН)
Анна Хорошкевич (Инслав РАН)
Татьяна Цивьян (Инслав РАН)
Джюльетта Чавчанидзе (МГУ)
Татьяна Чепелевская (Инслав РАН)
Евгения Шатько (Инслав РАН)
Наталия Шведова (Инслав РАН)
Андрей Шемякин (Инслав РАН)
Алла Шешкен (МГУ)
Елена Шиманская, переводчик
Людмила Широкова (Инслав РАН)
Малгожата Шняк / Małgorzata Szniak
(Центр польско-российского диалога и согласия)

С о д е р ж а н и е

О т Р е д к о л л е г и	3
<i>Адельгейм И.</i> Следы и следствия: Вторая мировая война в молодой польской прозе 1990–2000-х годов	5
<i>Акимова О.</i> «Мир проникся твоей славой...»: Польша в хорватских сочинениях XVII в.	8
<i>Ананьева Н.</i> Полонизмы в произведениях Дины Рубинной	9
<i>Баранов А.</i> Гарвардские лекции Чеслава Милоша: аспекты «поэтической» компаративистики	12
<i>Барановская М. / Baranowska M.</i> Wracam na Ochotę	14
<i>Бахуж Ю. / Bachórz J.</i> W niezgodzie ze stereotypami. Tezy rozważań o pewnych motywach wspomnień polskich zesłańców na Syberię w XIX wieku	16
<i>Белова О.</i> Королева Бона в славянском фольклоре	19
<i>Борковская Г. / Borkowska G.</i> Orzeszkowa wobec Rosji. Wokół listów do Wukola Ławrowa	21
<i>Будагова Л.</i> Между поляками и русскими: деятели чешского национального возрождения о польском восстании 1830–1831 гг.	24
<i>Вишневский Г. / Wiśniewski G.</i> Od Prusa do Kabatca – Wiktor Choriew o literaturze polskiej XX stulecia	26
<i>Володзько-Буткевич А. / Wołodźko-Butkiewicz A.</i> Поэт как переводчик (к проблеме изучения вопроса на материале польской и русской литературы)	31

<i>Глушковский П. / Głuszkowski P.</i> Образ Речи Посполитой в представлении Ф.В. Булгарина	34
<i>Граля И. / Grala H.</i> Wielka Smuta w pamięci historycznej Polaków	35
<i>Гусев Ю.</i> Поляк, венгер – два братанки	38
<i>Дудек А. / Dudek A.</i> Картина современной России в литературных репортажах Яцека Хуго-Бадера	41
<i>Кайтох В. / Kajtoch W.</i> Dwie powieści Władysława Terleckiego o powstaniu styczniowym («Spisek», «Dwie głowy ptaka»)	43
<i>Клементьев С.</i> Гротескный катастрофизм Р. Яворского (роман «Свадьба графа Оргазы»)	47
<i>Лабынцев Ю.</i> Польская агитационная «hutarka» 1863 г. и ее оценка Я.И.Н. Бодуэном де Куртенэ	51
<i>Лескинен М.</i> «Женщина – ваша тень...»: гендерные разновидности «этнического Другого» в народоописаниях славян	53
<i>Лешкова О.</i> «Век нынешний» и «век минувший» польского языка в современной польской лексикографии	55
<i>Мальцев Л.</i> Творчество С. Жеромского в имагологическом аспекте польско-русских отношений	59
<i>Медведева О.</i> О чем молчала Ивонна? (Драма Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургунда»)	62

<i>Мочалова В.</i> Польский Гораций в московской тюрьме	66
<i>Муслиенко С.</i> Польская литература XX века в интерпретации В.А. Хорева	71
<i>Николаева Т.</i> Кирибеевич, кто ты такой?	73
<i>Носов Б.</i> Сейм Королевства Польского 1818–1830 гг., его социальная природа и роль в государственном устройстве	74
<i>Оцхели В.</i> Реминисценции из И. Тургенева в малой прозе Я. Ивашкевича	77
<i>Павляк Г. / Pawlak G.</i> Rosyjskie przekłady utworów Jana Parandowskiego	79
<i>Санаева Г.</i> Диалог поэтов: Чеслав Милош и Тадеуш Ружевич	83
<i>Свирида И.</i> Восстанавливая идентичность забытого мастера: Джозеф Саундерс	85
<i>Семенова А.</i> Анна Лайминг как представительница кашубской литературы	88
<i>Семчук А. / Semczuk A.</i> К юбилею Профессора Виктора Хорева	92
<i>Слизовская В. / Śliwowska W.</i> Echa polskich zesłań na Zachodzie (1815–1881). Przyczynek do tematu	94
<i>Софронова Л.</i> «...tak Pan Bóg pofortunii!» (J.Ch. Pasek)	101
<i>Старикова Н.</i> Из истории люблянской полонистики: Тоне Претнар	103

<i>Тихомирова В.</i> «Места памяти»: Кресы в польской литературе	104
<i>Толстая С.</i> Вместо поздравления	105
<i>Трошиньский М. / Troszyński M.</i> Rosja w “Rapularzu 1843–1849” Juliusza Słowackiego	109
<i>Туркевич Г.</i> «Азбука» Ч. Милоша: на пути к «более объемной форме»	111
<i>Фалькович С.</i> Польские «пророки» и «национальный дух» европейских революций 1848–1849 гг.	113
<i>Филатова Н.</i> Образ России в польской пропагандистской литературе 1812 г.	119
<i>Флоря Б.</i> Представления о появлении монархии и ее исторической роли в польской средневековой традиции	123
<i>Хорошкевич А.</i> Российское, советское и постсоветское эхо сарматской теории	125
<i>Цыбенко О.</i> Поэма Адама Мицкевича «Конрад Валленрод» в интерпретации В. Ходасевича (к эволюции восприятия этой поэмы в России)	131
<i>Шерлаимова С.</i> Некоторые сюжеты из истории чешско-польских литературных связей	133
<i>Шишко Т. / Szyszko T.</i> «Трудный рост» польской рецепции Н.С. Лескова	136
<i>Щавинская А.</i> Польская русская Илария Булгакова – летописец православия в Польше	137
Tabula Gratulatoria	138

Научное издание

Victor Chorev – Amicus Poloniae

*К 80-летию
Виктора Александровича Хорева*

Москва, 2012. 148 с.

Оригинал-макет
Маргарита Ленъшина

Подписано в печать 9.02.2012
Тираж 150 экз. Объем 6,5 а.л.